

МАША ТРАУБ



Лишние
дети

Маша Трауб
Лишние дети

«ЭКСМО»

2019

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Трауб М.

Лишние дети / М. Трауб — «Эксмо», 2019

ISBN 978-5-04-103655-3

Что чувствуют дети? Грудные младенцы объявляют о своих желаниях плачем. А те, кто постарше? О чем они думают в шесть, семь лет? Что для них предательство? Чего они боятся? Мы, взрослые, умиляемся, разглядывая мишек и зайцев из пластилина. Смеемся и плачем, когда смотрим, как дети танцуют на утреннике. Но знаем ли мы, что творится по ту сторону забора детского сада? И главное, догадываемся ли, в какой момент наши дети учатся не жить, а выживать?

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-103655-3

© Трауб М., 2019
© Эксмо, 2019

Маша Трауб

Лишние дети

© Трауб М., 2019

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

Взрослые часто говорят: «Тот год стал для меня решающим», – или что-то вроде того. На самом деле вранье. Все решается в детстве. Для меня все определилось в год, когда я перешла в старшую группу детского сада. Если бы я ходила в другой садик или не ходила вовсе, или у меня были другие воспитатели, то и я бы стала другой. Точнее, так: не стала бы такой. А еще взрослые говорят, что ничего не помнят. Когда я спрашивала маму про ее детский сад, она всегда отвечала, что не помнит. Ну, вообще ничего. Снова вранье. Каждый взрослый помнит. Только не рассказывает об этом детям. Имена и фамилии детей и воспитательниц, их внешность, походку, особые приметы, привычки, одежду – прекрасно все помнят. Шапка воспитательницы, похожая на шкуру мокрой псины, собственное любимое платье с аппликацией на кармашке, платье Насти или Кати, которой смертельно завидовала и мечтала о таком же – даже рисунок этого вожаденного наряда память услужливо подсказывает. Запах варезжек, которые уложены на просушку и обязательно завалются за батарею – и надо лезть доставать. А там всегда пыль, и страшно засовывать туда руку – вдруг кто-то дернет снизу или укусит? Да, варезки тоже пахнут мокрой псиной. Вкус каши, мясной запеканки, запах щей и котлет. Мучительные загадки, на которые нет и не может быть ответа. Почему вареные яйца, когда их почистишь, всегда отдают синевой? А желток снаружи зеленый, а внутри желтый? Почему в садике омлет всегда пышный, как пирог, а дома быстро сдувается и становится плоским? Почему колготки и гольфы всегда спадали, сколько ни подтягивай? Почему если мальчик в шортах поверх девчачьих колготок – это нормально, а если в штанах, да еще и не в трениках и не в рейтузах, то «воображала – хвост поджала»? Все это застывает в памяти на всю жизнь. Можно забыть, как выглядела первая школьная любовь, но девочку в садике, в которую влюбился, или мальчика, обещавшего жениться, когда вырастет, – нет, такое не забывается. Как ни старайся.

Когда я росла, все дети ходили в детский сад, а если не ходили, значит, считались больными или ненормальными. Так что все родители отдавали детей в сад, и чем раньше, тем лучше. Я пошла в два с половиной года, что считалось уже поздно. Те, кто пережил ясельную группу, отличались от остальных детей даже по взгляду. Наш сад считался самым обычным, но хорошим. В том смысле, что в него отдавали и детей из «приличных» семей. А те, кто из неприличных семей (как я, например), – шли «по прописке». Моя мама всегда это подчеркивала – «мы по прописке». Это означало, что меня не могут выгнать и «мы имеем право». Хотя я бы предпочла считаться «приличной».

У нашего садика не было названия, просто «тот, который рядом с поликлиникой, между помойками». Соседний сад назывался «на бывшей свалке» и предназначался исключительно для детей «по прописке».

Зато в нашем садике каждая группа имела название. Старшая называлась «Березка». Потому что на стене на лестнице была нарисована береза. Краска на стене облупилась, и береза давно стояла голая. Там, где художник нарисовал листья, зияли серые пятна. А половину ствола, ту, что от пола, замазали. Начали перекрашивать и забыли, или краска закончилась. Но это ладно. В младшей группе мы назывались «Боровичками», потому что на стене был нарисован гриб с лицом. Все дети, впервые попадавшие в группу, начинали горько плакать и про-силась домой. Гриб, опять же по причине облупившейся краски, скалился и сверкал одним-

единственным зубом, да и то черным, как фикса. Что такое фикса, я не знала, да и никто из детей не знал, но взрослые прозвали гриб «фиксатым». Хуже рисунков на стенах в детском саду была только настенная живопись в детской поликлинике по соседству. Те из детей, кто не успел в совсем раннем детстве насмерть испугаться в поликлинике, узнавал, что такое настоящий ужас, в младшей группе детского сада. В поликлинике на стене изобразили мультяшных кота Леопольда и мышей. Я этот мультик ненавидела. Отчего-то художник выбрал серию, в которой кот обожрался таблеток озверина, и тщательно скопировал образ. Кот на стене получился страшным, с усами дыбом. Он пытался наброситься на мышей, выпустив здоровенные, как сабли, когти. У художника явно имелись проблемы с масштабом, иначе почему он нарисовал когти размером в две Леопольдовых головы? Мыши тоже не вызывали умиления. Толстый серый мышь бережно обнимал собственную лапу, закатанную в здоровенный гипс, а худенький белый мышонок держался за платок, обмотанный вокруг головы – у него болели зубы, да так, что на щеке выросла здоровенная опухоль.

Вот взрослые убеждены, что все дети любят рисовать или раскрашивать. И, глядя на детские каракули, хвалят детей. Иногда лучше сразу сказать ребенку правду, а то он потом вырастет и станет художником. И примется рисовать на стенах детских поликлиник и садиков. А дети получают эмоциональную травму уже в младенческом возрасте.

Что еще я могу рассказать для начала? В саду все дети резко выросли. Самообслуживаться мы начинали очень рано. Ясельники быстро приучались к горшку, а к младшей группе все уверенно орудовали ложками. В средней группе завязывали шнурки чуть ли не морскими узлами, а те, кто не обладал этим навыком, считались умственно отсталыми. И получали все шансы на изгнание из садика. Ходить в идиотах мало кому хотелось. Мы знали, как нас зовут, домашний адрес, имя-отчество-фамилию мамы, имя-отчество воспитательницы. Отвечали четко, не задумываясь. А если задумался или не повезло с именем-отчеством – Вячеслав Станиславович какой-нибудь, или Александр Александрович, или, еще хуже, Всеволодович, то тоже отправляйся в другой сад с диагнозом. В нашем «приличном» детском саду такие дети не нужны.

Мы все чувствовали себя одинокими. Даже дети из приличных семей, все были равны в своем одиночестве. Да, мы ощущали себя лишними. Как в детской игре, которой нас изрядно мучили с младшей группы – «третий лишний». Мы были лишними, мешающими родителям спокойно жить, работать, ссориться, мириться, заводить новых детей, уезжать в командировки. Мы становились лишними дома, поэтому нас отдавали в детский сад. Наши родители – такие же лишние дети, только выросшие. Они считали, что если ребенок не ходит в садик, то он не выживет в школе, не подготовится к жизни. И ему будет непременно плохо потом. А о том, что нам, детям, было плохо сейчас, никто не думал. Садик считался обязательным пунктом в жизненной программе, по которой жили наши родители и их родители, и наших детей ждала та же участь – ясли, детский сад, школа, институт, работа. Коллектив. Начальство. Праздники и отпуск, согласно графику. Больничный лучше не брать.

Друзья-товарищи? Нет. Привязанность к кому-то в саду приравнивалась к подарку судьбы, потому что друзья в любой момент могли исчезнуть – перейти в другой садик, уехать, получить диагноз. Дети «по прописке» не могли дружить с «приличными» детьми – слишком разный уровень жизни, слишком различались мы сами, а родители поддерживали это убеждение. Да, бывали случаи, когда дружили мамы детей из одной группы, и тогда дети тоже общались. Но нередко ненавидели друг друга. И пока мамы дружили, их отпрыски готовились к уничтожению товарища по неволе. К счастью, все заканчивалось ушибом или вывихом, разбитой губой, сломанной любимой игрушкой. Иногда мамы ссорились и переставали дружить, а детям, еще вчера обреченным на общение, полагалось игнорировать друга. Вот тогда бывшие враги и находили общий язык. Назло родительницам.

К старшей группе мы убеждали себя в том, что друзей лучше не заводить, чтобы потом не терять их и не испытывать боли разлуки. Не всем это удавалось, я так и не справилась с заданием. Мы, наше поколение, научились одиночеству. И в этом заключалась наша сила. Но если дружба случалась, как у меня, например, то эта связь становилась крепче семейных уз. Семья? Никто из нас не жил в нормальной семье. Да мы и не знали, что считается «нормальным». Но мы научились не бояться взрослых, ведь они хуже нас, детей. Взрослые на поверку оказывались еще более одинокими, чем мы. Врали они уж точно ловчее нас. И даже умудрялись растерять все то хорошее, что имели мы, – чувства. Благодарность, признательность, искренность. Способность любить, горевать, прощать, начинать все сначала. Нас не учили любить, радоваться, восхищаться, гордиться. Нас учили выживать, врать, терпеть, страдать молча, не показывать своих слез. Нас учили приспособляться, вливаться в коллектив, становиться тенью, желательной немой и глухой. Наше поколение – холодное, жесткое, циничное, нервное и при всем при этом очень отзывчивое, сохранившее доброту и навык удивляться, радоваться и ценить то, что имеешь.

Что мы узнавали с раннего детства? Нельзя «якать» и выставлять себя или свои достижения напоказ. «Я – последняя буква алфавита», – твердили все поголовно воспитательницы. Запрещалось говорить «я могу», «я умею»: это считалось неприличным, хвастовством. Не дай бог было подумать про себя, что ты лучше, красивее, умнее, талантливее всех. Выживали дети с психологией середнячка. Пока лучших давили, а над слабыми издевались (что делали и дети и взрослые), эти середнячки могли жить спокойно. Мы росли без тактильных ощущений. Нас не обнимали, не целовали. «Телячьи нежности»; «Нечего нюни разводить»; «Мальчики не плачут»; «Мальчиков нельзя целовать – вырастут хлюпиками»; «Нельзя обнимать девочек – жизнь их потом не обнимет». Однажды я увидела, как мама при всех целует свою дочь, и замерла от этого зрелища, настолько пронзительного, что хотелось заплакать. «Вот вы ее опять лижете! – рывкнула воспитательница. – А мне с ней что потом делать?» Мама резко отстранилась от дочери, словно от чужой девочки. Словно «облизывание» приравнивалось к преступлению, из-за чего весь воспитательный процесс пошел бы насмарку. Да, я не слышала слова «поцелуй». Я слышала «лизаться». Объятия – такого слова тоже не существовало в нашем лексиконе. Существительное заменял глагол «тискаться», который резал мне уши. Мне не нравилось, как звучат эти слова – «лизаться», «тискаться». А еще был глагол «сосаться», но он считался совсем неприличным. Его ни в коем случае нельзя было повторять. Хотя впервые я его услышала, когда увидела родителей одной девочки. Ее папа с мамой вдруг остановились и поцеловались. И воспитательница сказала, что они «опять сосутся», и произнесла это таким тоном, будто они делали совсем уж что-то неприличное и стыдное.

Я не помню, как ни стараюсь, чтобы мама меня обняла или поцеловала. Даже на ночь. Мы бежали навстречу родителям, которые приходили нас забрать вечером из сада, и резко тормозили, наталкиваясь на непробиваемый щит. Отскакивали от него и делали вид, что вовсе и не бежали. Мама целовала меня в день моего рождения – чмокала в макушку. Нас не хвалили за успехи, чтобы мы «не зазнались». Поцелуи и объятия считались позволительными только бабушкам, поскольку «что с нее взять – избаловала ребенка, вот он и сел на голову, а скоро и ноги свесит». К бабушкам относились как к неизбежному злу, которое – это самое зло – может только испортить ребенка и навредить ему, но с ним приходилось считаться. У меня бабушки не было. Не знаю, каково это – быть расцелованной, закормленной и залюбленной вопреки всем запретам.

Мы все, мое поколение, рано начинали говорить – нам надо было выживать. Уже в пять лет умели ровно, без складок, застилать постель и ставить подушку «уголком». Подметать пол, мыть полы, вытирать пыль, поливать цветы – этими ерундовыми навыками мы овладевали еще в средней группе. Как и регулировать кран в ванной – тогда ни о каких смесителях никто и не слышал. Холодная вода отдельно, горячая – отдельно. Из горячего крана обычно тек кипяток.

Пару раз ошпарив руки, смешивать воду научились все. А кто так и не научился – умывался холодной. Я ненавижу свое детство и воспоминания о нем. Ненавижу свой детский сад, дорогу к нему, помойку, даже две, и каждую ступеньку на лестнице. Я все отлично помню, хотя предпочла бы забыть. Именно тот год сделал меня такой, какой я стала – женщиной, которая не хочет иметь детей. Которая не способна любить и заботиться о собственной матери. У меня нет никаких чувств, я не умею жалеть. Даже животные меня не особо трогают. Я понимаю, что нужно пожалеть, но не умею это почувствовать. Не могу доверять никому, кроме самой себя. Я – чудовище, а не женщина. И я могла стать другой, если бы не тот год. Не та группа детского сада. Или нет? Или я все-таки не безнадежна и могу стать нормальной? Хотя бы как все?

Меня зовут Рита. Маргарита. Мама назвала меня в честь героини романа Булгакова, которой считала своим любимым произведением. Я, естественно, романа не читала, но была уверена, что Маргарита там какая-то чокнутая на всю голову. Или моя мама ненормальная, раз другого имени не могла придумать. Разве можно называть дочь в честь романа? Всех девочек, которых я знала, называли в честь бабушек. Кстати, об этом я тоже часто думала – почему у меня нет бабушки? У всех же есть. Отца, не говоря уже о каком-нибудь дедушке, у меня тоже не нашлось, так что спросить, почему мама назвала меня Маргаритой, оказалось не у кого. Так что нет ничего удивительного в том, что я сразу была не такая, как все остальные дети: кукухой поехала.

Мое имя мне никогда не нравилось, поэтому я о нем столько думала. Обычно меня называли Риткой. Или просто Ритой. Мама иногда звала Ритулей. Да, и я была единственной Ритой в группе. Три Лены, две Светы, еще две Иры. Маши, Кати, Наташи – нормальные имена для девочек. А Рита – ненормальное. Когда в садике нас заставляли учить наши полные имена – имя, отчество, фамилия, я плакала каждый день. Маргарита Григорьевна Куприянова. Букву «эр» я начала выговаривать очень рано. Жизнь заставила. Маргарита Григорьевна. Разве можно подбирать такое имя под отчество? Это же чокнуться можно, пока выговоришь. Так же плохо было только моему другу Стасику. Его мама тоже с головой, кажется, не дружила. Стасик был Станиславом Эдвиновичем.

Получалось, что моего отца звали Григорием, то есть сокращенно Гришей. Вот это у меня вообще в голове не укладывалось. Да во всех группах детского сада, от младших до старших, не было ни одного Гриши. Мне иногда казалось, что мама вообще выдумала, что отца звали Гришей. Я не знала ни одного человека с таким именем. Когда Стасик произносил «Эдвинович», воспитательницы впадали в ступор. Про Эдвиновичей они никогда не слышали. И настаивали на Эдуардовиче, что тоже звучало так себе, но лучше, чем Эдвинович. Стасик сдался и соглашался на Эдуардовича.

Конечно, к старшей группе у нас у всех появились клички. Очевидные и понятные. У всех, кроме меня. Стасика звали, естественно, Очкариком, потому что он носил очки. Ленку Сеницыну – Сеницей. Толика Петляева – Жиртрестом или Сосиской, потому что толстый. Светку Иванову – Пипеткой. Потому что Светка-пипетка. Но мне досталось самое обидное из всех прозвищ. И в этом была виновата Ленка Сеницына – звезда нашей группы, признанный лидер. Она считалась самой красивой девочкой, к тому же отличалась самыми лучшими нарядами и бантами. Естественно, Ленка была из «приличной» семьи, так же как и Светка Иванова – ее лучшая подружка. Светка была крупнее, почти такая же по габаритам, как Толик Петляев. Но у нее тоже имелись красивые платья и банты. Ленка – злая, обидчивая, капризная, делала все исподтишка. Пакостила так, чтобы на нее не подумали. Светка – добрая, простоватая и очень внушаемая, ходила за Ленкой хвостом и слушалась ее беспрекословно. Они всегда ходили парочкой и не дружили, например, со мной. Потому что я считалась странной и у меня, конечно же, не было таких красивых платьев и бантов. Тем более я же «по прописке».

Все девочки в группе завидовали Ленке и Светке. Считалось, что им дозволено больше, чем всем остальным детям в группе, ведь они – любимицы воспитательницы, Елены Ивановны.

Но Ленка по натуре была трусоватой, поэтому со мной не связывалась. Ленка всем рассказала, что я дура и меня скоро переведут в садик для дебилов. Наверное, в ее словах присутствовала доля истины, но я четко усвоила: поскольку я в садике «по прописке», то перевести меня просто так не имеют права. Для этого требовалось доказать мой дебилизм. Хотя и это не являлось особой проблемой, просто Елене Ивановне не хотелось со мной связываться. Тем более что я старалась особо не выделяться. Если честно, мне очень хотелось стать нормальной, любимицей воспитательницы и приходить в садик с косами, заплетенными красивыми ленточками. Особенно гофрированными. Как же я мечтала о гофрированной ленте! Красной или синей. Мама покупала мне в универмаге обычные коричневые. Но и те лежали без особой надобности – мои короткие волосы никак не желали расти и заплести мне косы оказывалось непростой задачей, требующей особого навыка. Иногда по утрам мама делала мне хвостики и завязывала банты. Но с хвостами я становилась совсем страшной – мама не могла сделать ровно, один хвост оказывался выше другого и располагался где-нибудь над ухом. Прическа «я у мамы дурочка». Так что, заходя в группу, я тут же их срывала, чтобы не давать Ленке со Светкой лишнего повода меня дразнить.

Ленка всеми силами пыталась придумать мне прозвище. Но ни одно не приживалось, не приклеивалось. Ритка рифмовалась с Маргариткой, но это не прозвище, а вроде как имя. Я не была толстой, так что Сарделькой меня назвать никак не получалось. Как невозможно оказалось обозвать Доской или Воблой – худой я тоже не считалась. Каланча и Лилипутка отпадали – я по росту стояла ровно посередине. То есть я росла настолько обычной, что даже зацепиться не за что. Я бы так и проходила без прозвища, если бы не остригла Ленке челку во время тихого часа.

Не знаю, что на меня тогда нашло. У меня случались приступы странного поведения, которые я даже сама себе не могла объяснить. Накатывало что-то странное, словно и не я совершала поступки, а кто-то другой моими руками. А я смотрела на это как будто сверху или со стороны. Но могла поклясться, что это не я. Так случилось, когда я дома сняла занавеску, дорожку, которую мама долго «доставала» и очень гордилась своим приобретением, и разрешила ее на мелкие квадратики. Не то чтобы мне не нравилась занавеска – обычная, с цветочным орнаментом. Но когда я засыпала, мне казалось, что орнамент – цветы, как говорила мама, – превращается в пауков. Я, кажется, никогда не видела живых пауков, но рисунок меня пугал каждый вечер. Я не смела попросить маму сменить занавески, из-за которых не могла уснуть – помнила же, как мама гордилась тем, что их «достала» и «буквально вырвала». Когда мама увидела, что от занавесок остались клочки, она даже не стала меня ругать. Она ушла плакать на кухню. Впервые увидев, что мама плачет, я испугалась. А потом привыкла. Мама часто плакала. Когда человек что-то делает постоянно, на это перестаешь реагировать.

– Будешь спать без занавесок, – строго сказала мама.

Я очень обрадовалась. Мне нравилось голое окно. И свет нравился. Я не сдержалась и улыбнулась.

– Тебе смешно, да? – тут же взвилась мама.

– Нет, не смешно. – Я никак не могла стереть с лица улыбку.

Мама меня отшлепала. Сильно. Не полотенцем, не ремнем, а рукой. Было не столько больно, сколько обидно. Я бы не сказала, что мама меня била в детстве. Нет, по попе мне прилетало постоянно, но у мамы была легкая рука. Так что боли я не испытывала. Да, я знала, что некоторых детей бьют шнурами от утюга, мужскими ремнями и даже трубками от пылесоса. Так что могу смело сказать – мама меня не била. Рукой не считается.

Потом я постригла всех своих кукол. Их было всего три, и все – старые. Я оторвала им головы с коротко остриженными волосами и выбросила в мусорное ведро. Наверное, мама подумала, что я больная, потому что достала головы, прикрепила к обезглавленным кукольным туловищам и положила в ящик с игрушками. Я снова оторвала головы и выбросила. Зачем я

оставляла туловища? Понятия не имею. Но мама больше не возвращала головы из помойки, а выбросила и туловища. Сделала вид, что ничего не произошло.

А потом я подстригла Ленку. У меня-то всегда была челка и короткая стрижка, которую мама называла красивым словом «каре». Но на самом деле я ходила, будто облизанная – тонкие волосы прилипали к голове или стояли дыбом, когда я снимала шапку. Челка липла ко лбу, который мама находила слишком широким для девочки. Она считала, что крупный лоб дозвоительно иметь мальчику (это свидетельствует о его высоком интеллекте), а для девочки лоб – недостаток. Впрочем, низкий лоб мама тоже считала иметь неприличным. Я сидела в парикмахерской, где мне ровняли челку, а мама в этот момент обсуждала с парикмахершей дозволенные размеры лба. Та кивала и спорить не собиралась. Еще я с детства ненавижу слово «выправится», мол, «вырастет, может, выправится». Так всегда говорили про меня. Я считалась не очень привлекательной девочкой, даже совсем непривлекательной, но оставалась слабая надежда на то, что я «выправлюсь» с возрастом. Куда я должна выправляться и когда наступит этот возраст, я не знала.

Когда я снимала шапку в раздевалке детского сада, все девочки смеялись и показывали на меня пальцем. Они называли меня «одуван». Но прозвище не приклеилось, хотя я бы только обрадовалась. Лучше уж «одуван». Но мой одуван быстро опадал, и я ходила с прилизанными волосенками и жалкой челочкой – две волосины в три ряда. Почему с прилизанными? Спросите об этом мою маму. Она считала, что мыть голову нужно не чаще одного раза в десять дней. Кто-то ей сказал, что волосы от редкого мытья станут крепче. Но уже к четвертому дню мои волосенки становились жирными, будто их смазали подсолнечным маслом. На самом деле не подсолнечным, а репейным, которое мама втирала мне в голову, добиваясь усиленного роста волос. И каждый день я выслушивала замечания от воспитательницы Елены Ивановны, которая пыталась для приличия сделать мне хвостик, перетянув волосы аптечной резинкой.

– Скажи маме, чтобы она тебе голову помыла, – говорила Елена Ивановна.

– Скажу, – кивала я.

– Что, ты опять с грязной головой? – возмущалась воспитательница на следующий день.

Не могла же я признаться Елене Ивановне, что уж лучше я буду ходить с грязной головой, чем лысой. Мама, наслушавшись советов, раздумывала о том, чтобы побрить меня наголо, и тогда мои волосенки превратятся в роскошную гриву.

Почему я решила отрезать волосы Ленке Синицыной? Потому что она обзывала меня «тифозной». Из-за вечно грязных и сальных волос, из-за короткой стрижки. Я просто хотела, чтобы она перестала обзываться и задаваться. У нее была длинная коса, и Елена Ивановна, расчесывая Ленку, всегда говорила остальным девочкам – вот, смотрите, в чем настоящая женская красота. В такой косе. Поэтому Леночка очень красивая. И все мальчики будут у ее ног. Разве это Ленкина заслуга? Разве она что-то сделала для того, чтобы у нее выросла такая коса? Просто ей повезло, а мне нет.

Во время тихого часа я откромсала ей прядь надо лбом. Куда дотянулась, там и откромсала. Ленка ничего не заметила. Зато заметила Елена Ивановна, когда стала причесывать девочек после дневного сна.

– Леночка, откуда? Утром же не было! – ахнула в ужасе воспитательница.

Ленка побежала в туалет, где висело зеркало, и тут же начала плакать, будто ей не волосы отстригли, а палец отрезали. Никто не видел, что именно я отстригла Ленке волосы, но она сразу же подумала на меня. Потому что я терпеть ее не могла и никогда не спала в тихий час. Вот тогда у нее и вырвалось: «Ретуза». Это прозвище приклеилось. Я осталась Ретузой. Даже Елена Ивановна меня так называла.

Как же Ленка тогда плакала над своими волосами! Просто надрывалась. И Елена Ивановна плакала. И все остальные девочки из чувства солидарности терли руками глаза, чтобы Елена Ивановна увидела, что они тоже переживают и умеют «сострадать». Даже я заплакала,

но только для виду. Чтобы на меня не подумали. И от радости – Елена Ивановна не поверила, что это я. Потому что для нее я была никем. Странной девочкой «по прописке», с виду нормальной, тихой.

Вот тоже удивительно: мы все делали напоказ – плакали, улыбались, смеялись, читали, клеили аппликации, танцевали и пели. Мы ничего не делали в удовольствие, в радость. Почему-то положительные эмоции из нас выжигали каленым железом. Если мы пели на уроке музыки, то только для того, чтобы выступить перед родителями. Если клеили или лепили, то исключительно для конкурса поделок. Рисовали – по заданной теме. Танцевали – тоже для того, чтобы показать танец на утреннике. Отчитаться. Не для себя. Для родителей, заведующей и прочих взрослых. Удовольствие, полученное от занятия, считалось ненормальным.

«Полечку» все начинали учить в младшей группе, и к старшей мы могли станцевать ее ночью, если разбудить. Песни заучивались до автоматизма, и к старшей группе мы пели вполне слаженно. Оценок нашим стараниям насчитывалось всего две: «стыдно показывать» и «не стыдно показывать». В старшей группе мы все делали как солдаты на плацу. И ненавидели каждую строчку стиха, каждый куплет песни. Костюмы для постановок принадлежали предыдущим поколениям детсадовцев, и они оказывались или нещадно малы во всех местах, или настолько велики, что висели мешками. Ни разу ни один костюм не оказался впору. Никому. И это считалось нормальным. Любые отклонения от нормы приводили в ужас воспитательницу и музыкального работника – Флору Лориковну. Хотя нет. Только Елена Ивановна пребывала в ужасе. А Флора только делала вид.

Флору Лориковну любили все. Она была другая, не такая, как взрослые вокруг. Больше похожа на нас, детей. Пугалась, если громко хлопала дверь. Аплодировала, если мы хорошо спели. Даже иногда подпрыгивала от радости на крутящемся стуле возле пианино. Она разрешала нам сесть на этот стул и покрутиться. Никогда не ругалась, даже если мы бегали и не слушались. А еще у нее был фокус. Она подзывала кого-нибудь из расшалившихся детей и показывала на клавишу на пианино, которую нужно нажать. Ребенок нажимал, а Флора Лориковна подыгрывала, и получалась настоящая музыка. Будто не одна она играет, а вместе с ребенком. Она играла нам колыбельные и даже пела на незнакомом языке. Нет, конечно, мы все учили «Крылатые качели» и «У дороги чибис». Главная задача – выучить слова и спеть громко. Но иногда Флора Лориковна просто играла нам, если мы сидели тихо и слушали. А мы сидели и слушали, потому что она играла очень красиво и здорово.

Мне нравилось называть ее по имени-отчеству. Я всегда старалась почаще обращаться к ней, чтобы еще раз произнести эти звуки, казавшиеся мне не менее волшебными, чем музыка. Такое имя – Флора. Единственное и неповторимое. Невероятно прекрасное. Ни у кого такого нет. Как же я хотела, чтобы меня тоже звали именем, которого нет ни у кого на всем свете!

– Почему у вас такое имя? – спросила я однажды.

– Не знаю, папа придумал. Мама хотела назвать меня Асмик. Означает «жасмин». А папа сказал, что я должна быть не одним цветком, а богиней всех цветов, и назвал Флорой. Была такая римская богиня, – рассмеялась Флора Лориковна.

– А вашего папу звали Лорик? – спросила я, хотя знала, что неприлично задавать такие вопросы взрослым.

– Да, – Флора Лориковна не рассердилась, – так и звали.

– А что значит это имя? – не унималась я.

– Ну, вообще-то перепел. Птичка такая. Так еще моя прабабушка моего отца назвала. Но потом, тогда ведь другое время было, тяжелое, сказали, что папу назвали по новым порядкам. И каждая буква означает слово – Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, коллективизация.

Я хлопала глазами, поскольку ничего не понимала.

– Перепел. Имя переводится – перепел, – рассмеялась Флора Лориковна.

– А вас не дразнили в детстве за имя?

– Нет, зачем дразнить за имя? – удивилась она.

Флора Лориковна даже плакала, как плачут только дети. От обиды и несправедливости. От счастья и переизбытка чувств. Или просто так. Потому что дождь льет или, наоборот, солнце светит.

У нас была девочка в группе, еще в средней, потом она ушла – Катя Антонова. И был у нее такой красоты голос, что Флора Лориковна, когда ее услышала, заплакала. Катя призналась, что ее бабушка – оперная певица и часто поет с ней детские песни. Естественно и совершенно справедливо, Флора Лориковна назначила Катю солисткой. Она пела так, что даже мы – хор – старались по мере сил и способностей хоть немножко соответствовать ее исполнению. Флора Лориковна сияла от счастья и повторяла, что это будет лучшее выступление на утреннике. На генеральную репетицию пришли заведующая, Елена Ивановна и воспитательница другой группы. На утреннике должен был присутствовать шеф садика – его требовалось порадовать выступлением, а за это он бы отремонтировал и покрасил садику веранды.

Катя пела прекрасно – ее удивительный голос звенел, как весенний ручеек. Она пела легко, радостно и с явным удовольствием. Мы тоже запевали куплет как никогда прежде. Кто не мог – молчали и просто открывали рот. Кто мог – дотягивали ноты, правильно дышали и следили за руками Флоры Лориковны, которая дирижировала. Мы все хотели спеть так, чтобы Кате понравилось. И Флоре Лориковне тоже. Дети ведь все чувствуют. И когда они видят и слышат удивительное, из ряда вон выходящее, реагируют. Взрослые отреагировали по-другому.

Заведующая сидела с каменным лицом. Елена Ивановна тоже. Только воспитательница соседней группы, совсем молоденькая, улыбалась и хлопала нам.

– Вы что, не понимаете? – одернула ее заведующая.

– Чудесно! Такая девочка! – воскликнула воспитательница.

– Пусть дома поет, – прошипела заведующая.

– Но почему? – Воспитательница не понимала.

– По кочану и по капусте, – рявкнула заведующая, – одна выделилась, потом вторая, третья. И что? Это непедagogично. Не все дети талантливы, а наша задача – не развивать их способности, а подготовить к жизни. К общественной жизни, в социуме. Школа, институт, пэтэу, наконец. Не все станут профессорами. Так что и нечего. Разве вы не проходили основы педагогической этики в институте? Странно.

– Девочка просто пела. – Воспитательница чуть не плакала, но все еще отстаивала свое мнение.

– Да, сейчас она просто пела. Но уже чувствует собственную исключительность. А что потом? Вдруг она перестанет петь? Потеряет голос? Или найдется девочка, которая будет петь лучше? И что тогда? А я вам скажу – что! Мы будем виноваты в том, что девочка этого не переживет. Как она станет жить без своего исключительного дара? Так вот, наша задача, как воспитателей, как специалистов по дошкольному образованию, – заложить в ребенка основы. Основные требования. Исключительность пусть в других садах развивают. Не в нашем. Есть сады для детей с отклонениями, есть – для так называемых талантов. Очень часто, кстати, эти дети оказываются в одном месте. Так что давайте воспитаем здорового ребенка, прежде всего психически. Дети поют хором, громко – вот пусть и она поет в общем хоре.

– Это неправильно, – шмыгнула носом воспитательница.

– А это не вам решать, – рявкнула заведующая. – Вы сколько работаете?

– Третий год.

– Маловато опыта, маловато. Взрослейте, деточка! Иначе с таким подходом мы с вами не сработаемся.

– Флора Лориковна! – кинулась к музыкальному работнику молоденькая воспитательница, чтобы найти защиту и поддержку.

- Флора Лориковна, зайдите ко мне в кабинет! – велела заведующая и вышла из зала.
- Зачем? – ахнула Флора Лориковна.
- Затем, – ответила Елена Ивановна и хмыкнула, – ну вы-то, дорогая, опытный человек. Вам же объяснили, что в зале будет сидеть шеф. И концерт, считайте, для него.
- Так я как лучше хотела! Чтобы человеку приятно было.
- Ему будет приятно, если его дорогая внучка будет стоять в первом ряду и петь громче всех. А где она у вас стоит?
- Где? – спросила Флора Лориковна.
- Вот именно, что нигде. Вы ее даже в хор не взяли.
- Кого не взяла? Я всех взяла!
- А Наташа Смирнова у вас где? Что-то не вижу. Даже в заднем ряду не вижу. И заведующая не увидела, поэтому вас и вызвала.
- Так девочка не хочет петь, – попыталась оправдаться Флора Лориковна. – Совсем не хочет. А если поет, то пусть лучше не хочет, чем так петь.
- Вот в этом и заключается ваша задача как музыкального работника – научить, заставить.
- Как можно заставить петь? – Флора Лориковна уже чуть не плакала.
- Можно. Вам же нужен новый инструмент?
- Очень нужен.
- Так пусть Наташа Смирнова споет, и будет у вас новое пианино! Но сначала краска на веранды. Что вы, ей-богу, как маленькая! Давно в профессии. Прекрасный специалист. Уважаемый работник образования.

Флора Лориковна кивнула и пошла в кабинет заведующей, где, видимо, тоже услышала про новый инструмент, краску на веранды в обмен на столь ничтожно малое – пусть Наташа Смирнова стоит в первом ряду и поет. И ее дедушка-шеф обрадуется.

На утреннике мы все пели «У дороги чибис». Никто не солировал, но в первом ряду стояла Наташа Смирнова, которая гудела, как труба. Ее дедушка очень обрадовался и перешептывался с заведующей, сидевшей рядом. Катя в утреннике не участвовала и больше в садик не ходила. От веранды вскоре запахло свежей краской. А в музыкальном классе появился новый инструмент. Сияющая «Лирика» вместо старой «Зари». Флора Лориковна плакала как ребенок и долго не могла подойти к столь вожделенному новому инструменту. Она до последнего продолжала играть на «Заре», пока пианино не унесли в подсобку по приказу заведующей. И мы все понимали, почему плакала наша учительница музыки. Она предала Катю и ее голос. Даже нас предала. Но мы жалели Флору Лориковну – она ведь не сама, ее заставили.

Я отвлеклась от рассказа о Ленке Синецкой. Она еще долго ходила с отстриженной прядью. Прямо надо лбом. Я надеялась продлить удовольствие, глядя на ее торчащий чубчик, но не получилось. Родители закупили ей кучу красивых заколок, которыми Елена Ивановна закалывала Ленке челку. Все девочки мечтали о таких заколках, и я в том числе. Волосы у Ленки отросли быстро. Заколки остались для красоты. А я осталась Ретузой. Навсегда. Даже сейчас, когда я встречаю Ленку, она здоровается: «Привет, Ретуза!» Все-таки надо было ей побольше тогда откромсать, а не одну прядь.

Я считалась обычной девочкой. Настолько обычной, что обычнее не придумаешь. Ничего выдающегося ни во внешности, ни в характере во мне не обнаруживалось. Девочка как девочка – блекленькая, тихонькая, средненькая. Нет, не мышка, не моль бледная – даже до этого я недотягивала. Серая масса. Такая, что не заметишь, если пропадет или вдруг снова появится. Елена Ивановна не сразу замечала мое отсутствие на прогулке. Я могла остаться в группе и не выйти со всеми детьми. Задерживалась в раздевалке, копаясь в вещах, и возвращалась в группу. Остальные дети гуляли на веранде, а я сидела за столом, стоявшим под

подоконником, и смотрела на всех сверху – наша группа находилась на втором этаже. Иногда садилась на подоконник, надеясь, что воспитательница заметит меня в окне. Но нет. Она считала детей по головам, и моя голова ей была не нужна. Когда они возвращались с прогулки, Елена Ивановна опять всех пересчитывала, вместе со мной, и у нее все сходилось.

Только сторожиха меня замечала. Еще со средней группы. А может, и с младшей, но я помню ее со средней. Я приходила в садик первой, уходила последней. Она называла меня Риткой-Маргариткой. И говорила, что маргаритка – это цветок. Очень красивый. Сторожиху звали тетей Розой, хотя на розу она совсем не походила. Скорее, на чертополох. Седая и косматая, как Баба-яга. Все дети ее боялись, а я нет. И никто не знал, как ее зовут – сторожиха и сторожиха. Когда я сказала, что ее имя – Роза, мне никто не поверил. Тетя Роза иногда наливала мне чаю из термоса и угощала сушками с маком. Особенно зимой, когда я примерзала попой к качелям, на которых сидела в ожидании мамы. Тетя Роза выходила, наливала чай – очень крепкий и очень сладкий – и давала мне сушки. Если бы не ее чай, я бы, наверное, насмерть на качелях замерзла. Иногда она давала мне свои варежки – погреться. Варежки были здоровенными, из какой-то шерсти. Про себя я называла эти варежки «лохматыми». Мама, разглядывая мою куцую шубейку из «чебурашки», искусственного меха, удивлялась – откуда на ней волосы? Но варежки тети Розы были в сто раз теплее «чебурашки». Кстати, это тетя Роза так сказала и долго цокала языком – как можно ребенка в «чебурашку» одеть в такой мороз? Ни платка шерстяного, ни рейтуз. Да как же так? Мне тут же становилось еще холоднее. Рейтузы у меня, конечно, имелись, но после того, как ко мне приклеилась кличка, я старалась их не носить.

– Красивое имя у тебя! – говорила сторожиха. – У меня тоже красивое. Значит, жизнь будет счастливой.

Я смотрела на тетю Розу и не видела ничего счастливого. Сторожем в детском саду работает. Да я бы ни за что в жизни не пошла работать в детский сад! Тоже мне великое счастье, скорее горе горькое. Для себя я счастья тоже не ожидала. Видела картинку с цветком маргаритки – маленькие цветочки с торчащими лепестками. Ничего красивого, на мой вкус. Даже чертополох выигрывал в оригинальности. А маргаритка – маленький блекленький цветочек, который прекрасно осознает свое место в цветочной иерархии и не стремится вырваться в первые ряды, став главным украшением клумбы в саду. Да и зачем пытаться? Когда там есть розы и георгины. Ленка вон всегда с георгинами – здоровенными, белыми – на все праздники приходила. Астры и те понаглее, понахрапистее. Мама могла назвать меня Астрой. Хоть какая-то претензия в названии.

Сидя в одиночестве в группе, пока остальные дети играли на веранде, я гадала, что бы случилось, если бы меня назвали, например, Леной. Или Светой? Или Наташей? Была бы моя жизнь другой? Может, меня бы не забывали в группе? Может, я смогла бы стать любимицей Елены Ивановны? Может, мне и шкафчик бы другой достался, а не с грибом? У Ленки Синицыной – с зайчиком. У Светки Ивановой – с бабочкой. А у меня с грибом. Как у Димы Ковалева, только у Димы – два грибочка, лисички, а у меня – всего один, то ли бледная поганка, то ли сыроежка. Я часто представляла себя Ленкой Синицыной и Светкой Ивановой. Ленка была не только любимицей Елены Ивановны, но и внучкой брата заведующей. Поэтому и находилась на особом положении. Что такое «особое положение», я узнала уже в средней группе. Светка находилась на вдвойне особом положении. Во-первых, ее маму тоже воспитывала заведующая, когда еще была обычной воспитательницей. Во-вторых, Светкина мама потом удачно вышла замуж за такого большого начальника, что могла носить заведующей подарки и продуктовые заказы. Светка говорила, что ее маму заведующая очень любила и считала одной из лучших своих воспитанниц. А еще имелась бабушка, с которой никто не решался спорить, даже Светкин папа, потому что бабушка могла устроить такой скандал, что никому бы не поздоровилось.

Но бабушка дружила с заведующей, так что скандалы не устраивала, а сразу шла в кабинет на третий этаж.

Светку бабушка всегда забирала из садика после обеда и приводила после полдника на прогулку. А сама стояла за воротами и ждала, когда внучка нагуляется. Если кто-то отбирал у Светки игрушку или толкал ее, бабушка тут же кричала из-за забора, что сейчас она все расскажет заведующей. Со Светкой никто не играл. Но она прибилась к Ленке и стала для нее как тетя Роза для садика. Светка была крупной рослой девочкой, крупнее всех нас, но не слишком умной. Точнее, совсем неумной. Дефицитные продукты, которыми пичкали Светку, шли в рост и в попу, а не в мозг. Так что если Ленке требовалось кого-то толкнуть посильнее или отобрать что-нибудь, то на помощь всегда приходила Светка. Она уж могла шарахнуть так, что мало не покажется – улетишь под батарею. А если начнет отбирать карандаш, лучше сразу разжать пальцы, а то руку сломает. Ужинала Светка дома, а не в садике.

Я горела желанием хотя бы на день превратиться в Светку Иванову и Ленку Синицыну. Но разве меня кто-нибудь об этом спрашивал? Но мне не хотелось отрезать волосы Светке – она хоть и дурочка с переулочка, но добрая. И если бы не дружила с Ленкой, то имела шансы стать нормальной. Ленка была злой и мерзкой, а Светка просто шла у нее на поводу. Она туго соображала и сначала делала, а потом думала. Однажды она прищемила мне палец дверью – ей Ленка велела. Через несколько дней после истории с челкой. Светка зажала мне руку и отпустила дверь. Она не думала, что может мне навредить, просто сделала то, что ей велела Ленка. Тяжелая железная входная дверь шваркнула по моим пальцам. Я видела, как мизинец и безымянный палец завернулись в другую сторону. Я даже смогла их выправить назад. Еще удивилась – разве пальцы бывают такими пластилиновыми? Как я дотерпела до дома – не помню. Но боли не чувствовала, скорее, неудобство – пальцы распухли, я рукав куртки не могла натянуть. Руку я старалась прятать, чтобы никто не увидел. Даже не сразу сказала маме, хотя дома мне вдруг стало очень больно. Когда я уже почистила зубы и легла в кровать, мама зашла выключить свет и только тогда я призналась, что у меня очень болит рука. Я думала, мама меня пожалеет или хотя бы испугается, но она расстроилась:

– Ты раньше не могла сказать? Я уже душ приняла и макияж смыла!

Да, я опять приносила маме только проблемы. Как всегда. Она твердила это всю дорогу, пока мы ехали до дежурного травмпункта.

– Ну почему ты не можешь быть нормальной? Разве это сложно? Просто хорошо себя вести, – причитала мама.

Она даже не спросила, как я умудрилась сломать два пальца. Но в травмпункте ее об этом спросил врач.

– Как получена травма?

– Я не знаю, – пришлось признаться маме.

– Как это вы не знаете? – удивился врач.

И маме, как мне показалось, стало стыдно. Но уже через секунду она опять стала прежней:

– Делайте свою работу! Я же не спрашиваю, почему от вас водкой несет?

От врача действительно пахло так, как иногда от сторожихи тети Розы, но почему-то мне этот запах нравился.

– Ну рассказывай тогда ты, – сказал мне врач и улыбнулся.

Я молчала и смотрела на маму.

– Так, мамаша, вышли и ждем в коридоре! – скомандовал врач.

Мама, как ни странно, подчинилась и вышла из кабинета.

– Как тебя зовут? Маргарита? Рита? Я дам тебе конфету, только смотри, чтобы мама у тебя не отобрала. Договорились? – Врач улыбнулся.

Я кивнула. Врач протянул мне карамельку. «Барбариску».

– Если ты засунешь ее за щеку, то боль пройдет. Я наложу тебе гипс, и ты ничего не почувствуешь.

Я насупилась и молчала. В волшебные конфетки я уже в младшей группе перестала верить. Как и в Деда Мороза.

– Не веришь, – сказал врач, и я удивилась. Даже рот открыла от изумления. – Вот и правильно. Поэтому я тебе дам настоящее лекарство. Держи. Ешь прямо сейчас.

Я взяла у врача что-то отдаленно похожее на кусочек шоколадки.

– Это же гематоген! – сказала я, засунув лакомство за щеку.

– Какая же умная девочка! И очень взрослая. Давай тогда рассказывай, что случилось, по-взрослому.

– Дверью прищемила. В садике, – ответила я.

– Сама? Руку в дверь засунула и дверь отпустила, да?

Я замолчала, потому что в кабинет снова вошла мама.

– Простите, это надолго? Мне завтра на работу рано вставать, – сказала мама.

– А вы мне на всю руку гипс поставите? – спросила я, стараясь смотреть в пол.

– Ты как сама хочешь? Как скажешь, так и поставлю, – серьезно ответил врач.

– Почему вы с ней так разговариваете? Что значит «как скажешь»? Как надо, так и ставьте. Только побыстрее, пожалуйста. Что у вас, впервые дети пальцы ломают? – возмутилась мама.

– Не впервые. Но она терпела часов шесть как минимум. Вот мне и интересно почему. К тому же я должен заполнить бумаги, а здесь есть графа – причина травмы. Может, вы ей пальцы сломали?

– Вы что, совсем уже? – Мама чуть в обморок не упала от возмущения. – Вы сами понимаете, что говорите?

– К сожалению, да. Пальцы, ребра, сотрясение мозга – родители детям все ломают.

– Это не мама. Мама вообще ничего не заметила. Это Светка, – призналась я, – но она не виновата. Ее Ленка подговорила. Светка дурочка. Она бы сама не сообразила. А Ленке я челку отстригла, вот она и решила отомстить.

– Ну, конечно, как всегда. Все виноваты, кроме нее! – возмутилась мама. – Как тебе не стыдно свою вину на других перекладывать? Какая Светка? Какая Ленка? Сама виновата, имей смелость признаться!

– Так, мамаша, у меня другой вопрос. Почему вы не заметили, что у вашей дочери пальцы сломаны? – Врач вдруг перестал быть добрым. – Вы чем занимались, пока ваш ребенок боль терпел? А?

– Как вы со мной разговариваете? Я буду жаловаться! – заорала мама, и мне стало за нее очень стыдно.

– Жалуйтесь. У вас ребенок с переломом, а вы наконец чухнулись. Небось не сами, а когда она пожаловалась на боль. Вот вам бы пальцы сломать и заставить ходить столько времени. Я бы на вас посмотрел, как вы бы терпели. Мамаша, называется.

Мама пулей вылетела из кабинета. Я улыбнулась.

– Ну а теперь рассказывай, что за Ленка и Светка? – велел мне врач.

Я ему все рассказала.

– Понятно. Давай я гипс на два пальца поставлю, сможешь рукой двигать и даже есть самостоятельно.

– А разве можно?

– Конечно. Вот ко мне мальчика привели. Третий класс. Так я ему всю руку в гипс закатал, чтобы на физру не ходил. Хиляк-разрядник. Умный ужасно. В шахматы играет. А его марафоны бегать заставляют. И на лыжах. А он как видит лыжи, так в ступор впадает. Ну не может он на лыжах, хотя хоккеем любит смотреть. Ну а мне гипса не жалко. Папана прямо

затравили на физре. Теперь вот в шахматы месяц может спокойно играть. Я же тут главный. Как захочу, так гипс и наложу. Тебе-то рука понадобится, да?

– У меня друг есть такой. Стасик. Его тоже дразнят, а он очень умный. А мне... да, рука нужна. Елена Ивановна, наша воспитательница, меня из садика выгонит, если я есть сама не смогу и одеваться. А мама со мной сидеть не может – у нее работа.

– Понял. А если твоему другу надо будет, скажи, дядя Петя ему куда захочет гипс поставит. Только гипс мочить нельзя. Ты сможешь высоко держать руку, когда моешься? Может, все-таки на всю руку? Мама о тебе больше заботиться будет. Кормить с ложечки.

– Смогу я держать руку. А мама меня все равно не будет кормить. Она дома не готовит. Я в садике ем. И завтраки, и ужины.

– Понятно. А папа у тебя есть? Или другие родственники? Давай бабушку вызовем. Бабушки они знаешь какие? Их все мамы боятся. Бабушка быстро порядок наведет и такой скандал в садике закатит, что твоим Светке с Ленкой мало не покажется.

– У меня нет бабушки. И папы нет. Только мама.

– Ладно. Тогда я тебе один секрет раскрою. Умеешь тайны хранить?

– Конечно. Честное слово.

– И пальцы за спиной не будешь скрещивать?

– Не буду.

– Тогда попроси, чтобы твой друг нарисовал что-нибудь на гипсе или написал. И все, что он нарисует или напишет, – обязательно сбудется.

– Мы еще плохо пишем, а Стасик рисовать не любит.

– А что он любит?

– В шахматы играть.

– Ну тогда пусть нарисует тебе на гипсе шахматную доску и фигуры. И ты будешь той фигурой, которой захочешь.

– И королевой можно?

– Конечно!

– А если он не захочет? Я не умею играть в шахматы.

– Тогда играйте в крестики-нолики! Прямо на гипсе! Ты же можешь в крестики-нолики?

– Могу.

– Вот и отлично. Все, иди на рентген. Потом со снимком опять ко мне. Не бойся, рентген – это фотография твоих пальцев, только изнутри. Костей. Я тебе подарю на память. Покажешь своему другу – ему будет интересно узнать, как кости человеческие устроены. Позови маму.

Врач не очень долго разговаривал с мамой. Но весь следующий месяц мама провожала и забирала меня из садика. Она даже варила мне гречку на ужин, хотя я не очень любила гречку. А мы со Стасиком играли в крестики-нолики на моем гипсе. До тех пор, пока места не осталось. И я даже иногда выигрывала. Доктор оказался прав – Стасик разглядывал рентгеновские снимки, которые мне вручил врач, с восторгом. Я передала Стасику слова доктора про гипс, который он может поставить куда захочешь, и мой друг серьезно кивнул. А Елена Ивановна удивлялась, отчего это такой странный гипс – она никогда подобный не видела. У всех детей нормальный – на всю руку, а у меня только наполовину.

Но я все думала про слова доктора дяди Пети. Почему моя мама не сделала то, что могла сделать бабушка, будь она у меня? Почему мама не пришла в сад и не устроила скандал? Не отругала Ленку со Светкой, ничего не сказала воспитательнице? Почему мама мне не поверила и решила, что я все придумала, а доктор поверил?

Вот Светка – толстая, некрасивая, туповатая, имела все шансы стать изгоем, как и я, но у нее бабушка, которая над ней тряслась, папа-начальник и мама в шубе, при виде которой, то есть шубы, а не Светкиной мамы, Елена Ивановна падала в натуральный обморок. А у меня – ни бабушки, ни отца, ни мамы в шубе, ни положения. Это ладно. У меня даже сестер и бра-

тьев не нашлось. Так что по количеству родственников я отставала от всей группы. Даже у Стасика имелись младший брат, отчим и отец. А еще целых три бабушки – мамы папы, мамы и отчима. Правда, из всех трех бабушек Стасик чаще всего видел неродную, маму отчима, которая помогала его маме с младшим братом. Но иногда она забирала Стасика из детского сада. А другие бабушки хоть незримо, но присутствовали в его жизни. Даже подарки по праздникам присылали.

У Ленки так вообще полный набор, могла бы и поделиться – две бабушки, два дедушки, мама с папой, старшая сестра, двоюродная сестра и двоюродный брат, тетя с дядей. И все такие дружные, радостные, с гладиолусами наперевес. Аж тошно становилось, когда они на наши утренники приходили, чтобы на Ленку посмотреть. К Стасику хоть мама приходила, держа его младшего брата на коленках, а ко мне вообще никто. Мама работала, и даже никакой заваливающей тетушки у нее не нашлось, чтобы отправить посмотреть, как я в четвертой линии в роли десятой снежинки выступаю. Один раз, кстати, я даже была мухомором. Роль без слов, зато все время на виду. И ничего, что меня из-за шляпы не было видно, даже непонятно, мальчик я или девочка. Елена Ивановна меня потом отругала – плохо выступила. Шляпу все время поправляла. Разве грибы двигаются и чешутся?

– Даже если на тебя никто не смотрит, ты все равно должна выступать хорошо. Чтобы не позорить всю группу перед другими родителями, – сказала Елена Ивановна.

Нет, я не плакала, хотя воспитательница ждала, что я начну скулить и извиняться. А что мне плакать? Ничего нового я не услышала.

– Тебе даже не стыдно! – заявила воспитательница и наконец оставила меня в покое.

Мне не было стыдно. А за что? Сама Елена Ивановна не пробовала напялить на себя эту дурацкую мухоморную шляпу и простоять смиренно сорок минут? Да ни за что бы даже пяти минут не продержалась! И шляпа эта воняла, кстати. Хуже, чем духи Ленкиных мамы и бабушки. Когда они зашли в группу, я чуть вообще в обморок не грохнулась. Их бы в наш туалет завести в качестве освежителей воздуха. Постояли бы там, благоухая, хоть пять минут, так на неделю запаха хватило бы. А Елена Ивановна улыбалась и причитала – какие духи, какой аромат! Хотя сама после представления бросилась к форточке и чуть ее не оторвала. Так духами надышалась, что свежего воздуха захотела. И потом в зале еще два дня окна открытыми держали – никак от запаха не могли избавиться. Мы аж зубами клацали, когда польку танцевали на музыкальном занятии. А Флора Лориковна сидела, заматавшись в пуховый платок, и ругалась на незнакомом языке.

Вот Стасик – молодец. Я им восхищалась. У него обнаружили идеальные способности для выживания в детском коллективе. Он очень умный, хотя Елена Ивановна считала его дураком, только что не дебилом. Потому что Стасик был не как все остальные дети. Да, у него имелись мама, отчим, целых три бабушки и младший брат – считай, полная благополучная семья. Но даже это не делало его нормальным. Стасик много думал. Обо всем. И молчал. Если Елена Иванова спрашивала у него, сколько будет один грибочек плюс еще один грибочек, Стасик надолго задумывался и не отвечал. Сидел и улыбался, как дурачок. Просто Елена Ивановна не знала, что Стасик умеет считать до ста и складывать не грибочки, а цифры. Причем двузначные. Я это тоже случайно узнала. На утреннике он должен был играть дуб. Ему всучили в руки ветки, а на голову нацепили бумажный ободок с нарисованным желудем. Я, кстати, заметила – всем детям, которых Елена Ивановна считала глупыми или странными, доставались роли деревьев и грибов. Иногда пеньков и забора. Так вот когда Стасик был дубом, он стоял на репетиции ровно и даже не шелохнулся.

– Как ты это делаешь? – спросила его я.

Стасик всегда сразу понимал, о чем я его спрашиваю, хотя другой бы обязательно спросил: «Что делаю?» И он ответил:

– Считаю.

– Как?

– Сначала через два: два-четыре-шесть-восемь и так далее. Потом через три – три-шесть-девять-двенадцать...

– И долго ты так можешь? – спросила я.

– Не знаю, – улыбнулся Стасик.

Вот вы сейчас скажете, что дети в детском саду не могут так разговаривать. Откуда вы знаете? Вы, родители! Вы знаете, как ваши дети говорят? Нет. И никто не знает. Даже Елена Ивановна. Потому что при воспитательнице мы говорили как положено детям или просто молчали. «Слово – серебро, а молчание – золото» – мы эту поговорку усвоили еще в младшей группе, хотя про золото и серебро не понимали. Зато понимали про «еще раз так скажешь, по губам получишь!» В младшей же группе мы активно пополняли словарный запас, пробуя на звук услышанные слова. Вот я как-то сказала, глядя на Елену Ивановну, «полная зоба», не думая, что говорю что-то ужасное. Жоба у нее действительно была полная, точнее толстая. И тогда же впервые услышала «по губам получишь». Значит, «зоба» говорить не стоило. К старшей группе мы владели вполне приличным набором матерных слов. А еще Елена Ивановна повторяла: «Молчи, за умную сойдешь», «Молчи – легче будет». Но любимой у воспитательницы была другая поговорка. Когда она устраивала допрос – кто сломал железную дорогу или почему плохо убрана кровать, всегда вопрошала: «Ну что молчишь, как рыба в пироге?» Если честно, я не очень понимала смысл этих поговорок. Про «умную сойдешь» еще догадывалась, а про «молчи – легче будет» не понимала. Мне тяжелее становилось, когда я не могла никому пожаловаться или хотя бы просто поговорить. Хорошо, что меня Стасик спасал – он не очень умел поддерживать диалог, зато оказался прекрасным слушателем. А про «рыбу в пироге» я вообще голову сломала. Как может быть рыба в пироге? Рыба может быть отдельно с пюре или в супе, но никак не в пироге. Я даже не верила, что пирог может быть с рыбой. Пирожки ведь бывают с яблоками или с мясом. Как я не знала о таком блюде, как рыбный пирог, так и Елена Ивановна не догадывалась, что Стасик считает до ста через два и через три. И даже не подозревала, что именно я отрезала Ленке челку. А мама так и не поверила, что какая-то Светка прихлопнула мои пальцы дверью. И никто из взрослых даже предположить не мог, на что я еще способна.

Когда я стала ненавидеть взрослых? В тот день, когда мне снимали гипс. Доктор дядя Петя меня не узнал. Даже не вспомнил. Посоветовал аккуратнее качаться на качелях и не падать. Я не могла поверить своим ушам. Он даже не обратил внимания на мой гипс, разрисованный крестиками-ноликами. Мне было не обидно, а больно. Очень больно. Куда больнее, чем в тот момент, когда моя рука застряла в двери и когда я выпрямляла себе пальцы в обратную сторону. Тогда я поняла, что взрослые, которые кажутся добрыми и заботливыми, тоже равнодушны. Им наплевать. Просто у них в тот момент, когда они были добрыми, оказалось такое настроение. Как у моей мамы, когда она вдруг пекла яблочный пирог, как я люблю. С хрустящей сахарной корочкой сверху. Я думала, что мама меня любит, раз печет для меня пирог. Но это не так. Совсем не так. Просто у мамы появлялось настроение, а уже на следующий день она спокойно могла забыть накормить меня ужином. Так и доктор дядя Петя пожалел меня, а потом забыл, как я выгляжу, что говорил мне и как успокаивал. Разве это нормально? Вы, взрослые, разве не знаете, что дети все помнят? То, что вы запоминаете на пять минут, у детей остается в памяти на всю жизнь.

Мне даже казалось, что всем детям, когда они становятся взрослыми, промывают с хлоркой мозги. Чтобы стереть все воспоминания о собственном детстве, не помнить, как были детьми и что чувствовали.

Нет, я знаю, жаловаться нельзя. И надо всегда говорить «спасибо». Потому что мы пока маленькие и ничего не понимаем, а потом пойдем, когда вырастем. Что пойдем – непонятно, но пойдем.

Однажды Светка Иванова заболела ветрянкой. И еще пять детей в группе тоже заболели. Я думала, Светку больше в садик не пустят – объявили карантин, и все знали, что ветрянка началась с нее. Елена Ивановна шепталась с заведующей. Обе боялись Светкиного отца, большого начальника, так что про источник заболевания сплетничать всем запретили. Тем более что источник, то есть Светка, провела выходные в подмосковном пансионате, куда простые смертные не попадают, а только бессмертные, как ее папа-начальник и мама в шубе. Именно там она и подцепила ветрянку от такой же дочки бессмертного папы-начальника и мамы в шубе. Неважно. Все знали, что это Светка, и молчали. Заведующая получила праздничный продуктовый заказ – банка шпрот, колбаса салями, коробка шоколадных конфет, бутылка коньяка, а от Елены Ивановны откупились сушеной воблой, талоном в стол заказов магазина и коробочкой польской косметики. Почему я это знаю? Бабушка Светки принесла продукты и выгружала пакеты на стол воспитательницы. Еще делила: «Это вам, это не вам, передайте. Это тоже вам, а это передайте». А о такой коробочке с яркими тенями, румянами и маленькими кисточками моя мама мечтала весь последний год.

Во время карантина я ходила в сад почти счастливая. Родителям предложили забрать детей, многие так и сделали, но моя мама не могла – она работала и, как я уже говорила, присмотреть за мной было некому. Стасика тоже оставили в саду – мама нянчилась с его младшим братом, а старший создавал дома лишние проблемы и заботы. Стасик не возражал против садика, опустевшего больше чем наполовину. Ему так больше нравилось, как и мне. Он учил меня читать и считать. Елена Ивановна была просто счастлива и даже не выгоняла нас на прогулку – два идиота сошлись. Тихо сидят, ничего не ломают, смотрят в окно. Правда, через пару дней, понаблюдав за нашим общением, воспитательница стала переживать, что Стасик может попросить меня в туалете снять трусы в обмен на то, что он тоже снимет трусы. Елена Ивановна стала за нами следить. Но мы в туалет вместе не ходили, трусы друг при друге не снимали, а просто сидели за столом и рисовали. Для виду, чтобы Елена Ивановна не придумала себе еще чего-нибудь про нашу дружбу, я рисовала елки, деревья и цветочки, а Стасик в это время на другом листочке писал мне записки, которые я должна была прочесть. Или примеры, нормальными цифрами, а не клубничками, грибочками и яблочками. Стасик считал, что я могу поумнеть, если постараюсь. И я очень этим гордилась. Больше, чем похвалой от Елены Ивановны. Стасик врать не стал бы. Он не умел. Но учился. Я его учила. Ради его же блага. Такой вот у нас получился взаимообмен знаниями.

Мама Стасика очень хотела, чтобы он называл своего отчима папой или хотя бы дядей Лешей. Но мальчик обращался к отчиму только по имени-отчеству – Алексей Витальевич. Мама очень переживала по этому поводу. Так вот я учила Стасика говорить хотя бы «дядя Леша». Убеждала его в том, что это ничего не значит, а уж тем более не предательство по отношению к его родному отцу, а просто обращение – дядя, которого зовут Леша. Стасик не сразу, но согласился, и его мама очень обрадовалась. И купила ему новую коробку шахмат вместо прежней, в которой были утеряны целых пять фигур. Стасик, кстати, отказывался лепить из пластилина коня или делать из конфетного фантика пешку. Он держал эти фигуры в голове. После того, как он произнес «дядя Леша», у него на столе появилась новая шахматная доска с новенькими блестящими фигурами. Стасик обрадовался, но продолжал играть на старой, привычной доске, держа в голове потерянные фигуры. Я даже не удивилась – после истории с Флорой Лориковной, получившей новый инструмент. Не знаю, как уж себя убеждал Стасик, но, видимо, мои уроки не прошли даром – вскоре он получил в подарок от дяди Леша книжку про шахматы и специальную тетрадь для шахматных задачек. Я перешла к изучению счета в пределах сотни, а Стасик учился называть дядю Лешу папой.

– Он мне не отец, – стоял на своем Стасик.

– Конечно, нет, – соглашалась я. – Но разве тебе сложно это сказать? Ты представляешь, что тебе за это подарят?

– Мне ничего не нужно. – Стасик оказался очень упрямым учеником, упрямее меня.
– А ты подумай. Вот придумай, что тебе нужно, скажи маме и после этого назови дядю Лешу папой.

– Нет.

– Стасик, мне вот все равно, кого называть папой. Хоть тетю Розу. Это же просто слова.

– Ты не понимаешь. У меня есть папа. Он меня заберет. Когда-нибудь. У тебя никогда не было отца, а у меня был.

– Ну как хочешь, – сдалась я. – Но учти, если тебе что-нибудь понадобится, очень важное, просто назови своего Алексея Витальевича папой. И все. Или хотя бы скажи вслух «папа», а про себя говори «Алексей Витальевич».

Однажды Стасик пришел в сад и не подошел ко мне, что показалось мне странным.

– Ты чего? – спросила я своего друга.

Он не ответил. Стасик редко отвечал на вопросы, так что я не удивилась. Но он и вправду был не в себе. Выглядел не таким, как обычно. И вдруг ни с того ни с сего заплакал. Я ужасно перепугалась – Стасик никогда не плакал. Ни разу.

– Перестань, пожалуйста. – Я не знала, что делать со Стасиком. Хорошо, что Елены Ивановны и остальных в группе не было – ушли на прогулку, а нас оставили, чтобы не мешались и не раздражали своим присутствием.

Стасик со слезами пошел в раздевалку и вернулся с коробочкой.

– Что это? – не поняла я, поскольку такой коробки никогда не видела.

– Готовальня, – выдохнул Стасик, – а еще транспортир.

– Стасик, говори нормально, – попросила я, поскольку слов таких не знала и не слышала.

– Я сделал так, как ты сказала. Сказал вслух «папа», а про себя – «Алексей Витальевич».

И вот – у меня есть это.

– Ты об этом мечтал? – Я рассматривала коробку, в которой лежали какие-то странные штуки.

– Да. Я давно просил, но мама говорила, что мне рано.

– Так и чего ты плачешь? – не понимала я.

– Я его папой назвал. За это. За транспортир. Я его раньше очень хотел, а теперь не хочу.

– Ну, назовешь своего отчима еще раз «папой», когда придумаешь, что тебе еще нужно. – Я не понимала, почему Стасик так страдает. Я бы такую ерунду точно не попросила, а что-нибудь стоящее – пальто новое, например, или колготки, как у Ленки Синицыной.

– Разве так можно? – спросил Стасик.

Я посмотрела на него и еще раз убедилась в том, что нашла себе самого странного друга из всех возможных. Не просто ку-ку, а на всю голову. Если так пойдет дальше, то я с ним таблицу умножения выучу, пока объясню, что можно, а чего нельзя.

– И что с этим делать? – спросила я, взяв странную коробочку, чтобы отвлечь Стасика.

– Все, что угодно. – Стасик быстро отвлекся и начал объяснять мне, как измерять углы транспортиром.

Нет, мой друг был не странным, не чокнутым. Он... был уникальным, удивительным ребенком. Талантливым, умным, при этом добрым и наивным. Он умел жить в своей голове, в которой творилось не пойми что. Многозначные цифры, готовальни, транспортiry, шахматы. Его собственная голова являлась для него укрытием и спасением. Если честно, я завидовала ему. Хотелось бы мне уметь так думать, забывая обо всем, что творится рядом. Не замечать быта и радоваться транспортiry, а не так, как я – новым колготкам. Я сама чуть не начала плакать, поскольку решила, что недостойна такого друга. Зачем я ему вообще сдалась? Даже читать бегло не умею. Почему он согласился со мной разговаривать? Может, я не такая уж и глупая, как решила сама про себя? Не стал же он дружить, например, со Светкой. А Стасик,

пока я размышляла над собственным несовершенством, достал циркуль и нарисовал совершенно ровный круг – я ахнула от восхищения.

– А еще можешь? – спросила я.

И Стасик рисовал мне круги – большие и маленькие. Меня это заворожило. Все-таки Стасик видел красоту по-другому, и я считала, что он правильно назвал своего отчима «папой». Эти абсолютно ровные, идеальные круги были красивы, по-настоящему. Абсолютной красотой.

– Я больше так не смогу, – сказал наконец он.

– Сможешь. Только в первый раз сложно. Потом легче. Думай, что делаешь это не ради подарка, а ради мамы. Она же была рада?

– Была. Даже очень, – признал Стасик.

– Вот и хорошо. Пусть мама будет рада.

– Ладно, так и буду думать. Так легче.

Когда ветрянкой заболела и Ленка Сеницына, я охотно, как никогда раньше, бежала в садик. Как же я была счастлива! Елена Ивановна, как я уже говорила, перестала обращать на нас внимание – в группу ходило от силы пять-шесть детей. Стасик разрешил мне пользоваться готовальной, и я рисовала бесконечные круги и полукруги. И случилось настоящее чудо – мне дали «слова»! К утреннику на Седьмое ноября я должна была прочитать стишок! Целых четыре строчки! Никогда раньше мне слов не давали. Да, естественно, я слышала разговор воспитательницы с заведующей, что «больше некому», «уже десять человек из группы с ветрянкой, остальные боятся заразиться и не ходят», «или отменить мероприятие». Мне было все равно, что слова я получила только потому, что «больше некому давать». Я волновалась и повторяла стишок по дороге в садик. Мне нравились репетиции, когда Елена Ивановна вызывала именно меня, и я выходила на центр зала и громко читала свое четверостишие, которое должна была читать Светка или Ленка. Елена Ивановна негодовала, поправляла меня, ругалась, что я читаю слишком тихо или чересчур громко: «Что ты орешь как резаная?», но как же мне было хорошо в тот момент! Воспитательница велела мне не проглатывать окончания, а я и не проглатывала. Я читала куда лучше Ленки и Светки, это уж точно. Вы думаете, дети не понимают, кто лучше, а кто хуже? Все прекрасно понимают. Вот Стасика Елена Ивановна считала дурачком, потому что он часто сидел, уставившись в одну точку. Когда воспитательница просила его прочитать по слогам «ма-ма» или «ка-ша», Стасик делал такой вид, что ну точно психушка на выезде. Елена Ивановна ведь не знала, что он прекрасно читает и миллион стихов наизусть знает. А в группе это знали все. То есть все дети. Поэтому Стасика не задирали и не дразнили – боялись связываться с умным. Стасиком, которому тоже достались слова, Елена Ивановна была недовольна. Он вообще стоял и молчал, задумавшись.

– Ты выучил? – кричала как полоумная воспитательница.

Но если Стасик о чем-то думал, то отвлечь его от собственных мыслей было сложно. Поэтому Елена Ивановна покрывалась красными пятнами и твердила, что «лучше бы вы заболели вместо других, а то утренник точно сорвем».

Вот тоже странно. Понятно же, что утренник сорвать нельзя, даже если очень постараться. Родители все равно станут хлопать и радоваться. Им наплевать, как ты стишок прочтешь. Они на чужих детей не смотрят, только на своего ребенка. Так что им вообще до лампочки, выйдем ли мы со Стасиком на сцену или нет. Моя мама на детские утренники не ходила – не отпускали с работы. Так что я только сама за себя могла порадоваться. За Стасика – нет, потому что он и сам был не рад читать стихи. Его мама всегда приходила на утренники и смотрела на своего сына так, словно видела впервые в жизни. Застывшая улыбка и удивленный извиняющийся взгляд. Будто Стасик только что описался на сцене на виду у всех.

Но были ведь и другие родители, а также бабушки и дедушки. Вот Светка Иванова, например, панически боялась выступить, и ее бабушка специально договаривалась с Еленой

Ивановной, передавая талон в стол заказов, чтобы Светочке дали слова. Ее папа считал, что дочь надо «приучать» выступать. Елена Ивановна за талон давала слова – ей не жалко. А Светку было жаль – она, бедная, аж зеленая стояла и заикалась, пока стишок читала. А перед этим чуть в обморок от страха не падала. Перед каждым выступлением у Светки начинались рвота и понос. Она из туалета не могла выйти. Елена Ивановна, вместо того чтобы ее пожалеть, ругалась и кричала, что Света должна «взять себя в руки и собраться». Воспитательница выдавала ей аскорбинку, умывала холодной водой, чтобы Светка хотя бы до актового зала могла дойти. Несчастная девочка жевала аскорбинку и вытирала сопли рукавом нарядного платья, которое на ней трещало по швам. Я каждый раз думала, что на мне бы это платье лучше сидело, а на Светку что ни надень, все равно получается бочонок на ножках. Или сарделька. Светка в полубморочном состоянии, с покрасневшими глазами и носом, растрепанная, выходила в центр зала, читала еле слышно стишок и убегала. Но ей громко аплодировали, и уже после утренника бабушка или папа-начальник подходили к Елене Ивановне и благодарили. «Да, Светочка стала намного увереннее». Вот уж враки. Только хуже. Лучше бы оставили ее в покое и не мучили.

Как-то я рассказала маме про Светку, которой всегда достаются слова, потому что за нее бабушка просит.

– Сейчас я буду для тебя слова выпрашивать, а потом что? Оценки в школе? – Мама рассердилась. Она считала, что я даже заикаться не смела о такой просьбе. – Это же просто неприлично! – повторила мама.

Я тогда хорошо усвоила урок – то, что для одних неприлично, для других – в порядке вещей. И еще тогда решила: если у меня будет ребенок, я стану для него выпрашивать все, что угодно. И достану любой талон в стол заказов, лишь бы моему ребенку дали то, что он хочет. И пусть это считают неприличным. Была бы я Светкиной мамой или бабушкой, я бы любые шпроты достала, лишь бы избавить девочку от слов и публичного выступления.

Моя же мама носилась с идеей «достойна-недостойна».

– Если тебе не дали слова, значит, ты недостойна, – твердила мне она.

Неужели она – взрослая – не понимала, что достоинство покупается и продается? За духи, продуктовый набор или билеты в театр меня бы быстро сочли достойной. Да я бы в главных ролях с младшей группы выступала, как Ленка Синицына. Кто Снегурочка или Главная Снежинка? Ленка. Кто первой про маму стихи читает? Ленка.

Я поделилась этими мыслями со Стасиком. И тот совершенно не удивился. Его даже в собственной семье считали если не совсем идиотом, то уж точно «проблемным ребенком». Его мама ходила к Елене Ивановне и, наоборот, просила не давать Стасику слова на утреннике.

– Зачем ему позориться при всех? – говорила мама Стасика, нисколько не смущаясь тем фактом, что сын стоит рядом и все слышит.

– Да я совершенно с вами согласна! – отвечала радостно Елена Ивановна. – Но вы тоже меня поймите! В садике карантин, слова давать некому. Или вовсе отменять мероприятие! Я хотела отменить, но заведующая сказала, что надо провести. У нас же тоже отчетность. Мы обязаны.

– Ну вы же знаете, что он не может, – убеждала воспитательницу мама Стасика.

– Мы работаем над этим. В этом наша задача. Так что и хорошо, что карантин. Надо использовать этот шанс. Стасику будет полезно оказаться, так сказать, в центре внимания. У нас все дети равны, имеют шанс проявить себя, а наша задача – вытолкнуть ребенка, даже силой, если хотите! Для его же блага, для его будущего! – заверяла Елена Ивановна.

– Даже не понимаю, почему так произошло, – мама Стасика начинала хлопать носом и давить на жалость, – он родился нормальный, доношенный, никаких родовых травм, девять баллов по шкале Апгар. И в роду все нормальные. Правда, его отец... я не всех родственников с той стороны знаю... Может, оттуда. Генетика, наверное... Отец его... я не смогла с ним жить... вы же понимаете. Теперь у меня здоровый во всех смыслах муж, нормальная семья. И младший

Гоша растет как положено. Как по учебнику. Даже в детской поликлинике удивляются – образцово-показательный ребенок. Я думала, надеялась, что здоровая атмосфера хорошо повлияет и на Стасика. А он только хуже с каждым днем. Хотя во время карантина изменился. Резко. Сначала стал моего мужа дядей Лешей называть, а теперь иногда и «папа» проскальзывает. Я даже радоваться боюсь.

– Мы считаем, что дисциплина, воспитание и социализация важнее генетики. Лженаука какая-то. Надо работать. Мы этим занимаемся. Карантин дал нужный стимул, только и всего. Болезни, пусть и у других, часто дают подобный толчок. Ну и плюс наши наработки и опыт общения с такими детьми. Вот вам и результат! – торжественно объявила Елена Ивановна.

– Да, конечно, вы правы. И врачи так говорят. Что надо социализировать и не поддаваться на его... странности, провокации и выдумки.

– Я очень рада, что мы с вами говорим на одном языке. – Елена Ивановна, дай ей в руки детский горн или дудку, протрубила бы что-то торжественное.

– Одна радость – Гоша. Совершенно нормальный, не перестаю удивляться. – Мама Стасика показала на младшего сына, пытавшегося засунуть в нос пластилинового зайца, которого сгреб со стола. – Стасик в отцовскую породу пошел. Там все люди творческие. Его отец – архитектор, бабушка – художница.

– Да уж. Алкоголь, вседозволенность, так сказать, высокие материи. А я вам так скажу: видела вашу новую свекровь. Очень ответственная дама, старой закалки. Она точно не даст распуститься внуку, – ответила Елена Ивановна. – Кто она по профессии?

– Инженер. Но она жена военного. Свекр – военный. По гарнизонам всю жизнь, и она за ним.

– Вот и сразу видно! Уж простите за прямоту.

– Да, спасибо, – проямлила мама Стасика.

Стасик рассказывал, что новая бабушка терпеть его не может. И запрещает ему читать. Один раз даже перемотала бинтом дверцы в книжном шкафу, чтобы Стасик не смог их открыть. А еще лучше – застукать его на месте преступления – когда будет разрезать бинты – и наказать. Но Стасик своим странным математическим мозгом оценил шансы на развязывание и просто пошел за табуреткой. Его новая бабушка решила, что Стасика заинтересуют только нижние полки, и замотала дверцы внизу. А доступ к верхним оставался свободен. Так Стасик пополнил свои знания в живописи и скульптуре – на верхних полках хранились альбомы с репродукциями. Ему было все равно, что читать, что рассматривать. Зато он никогда не заглядывал под юбки девочек, потому что знал об устройстве женского тела даже побольше самих девочек. Благодаря художественным альбомам. Младший брат, по счастью, отвечал ожиданиям матери и бабушки – играл в машинки, сосал палец, ковырялся в носу, ел козлявки и рано начал говорить, в отличие от Стасика, который молчал лет до трех. И младший брат явно не начал бы бегло читать и считать до ста в шесть лет, как делал это старший. И уж точно не сумел бы так мастерски скрывать свои навыки, как Стасик.

Мы обсуждали со Стасиком наших мам. И вот что меня удивило. Я на маму злилась и вообще не понимала, как мы можем быть матерью и дочерью. Да мы даже не общались! «Как дела в садике?» – «Нормально». Вот и весь разговор. Мне бы и в голову не пришло жаловаться маме или описывать, кто что сделал сегодня, что нам давали на полдник и какую песню мы пели на музыкальном занятии. А она и не спрашивала. А Стасик свою маму любил и жалел. Он очень старался, чтобы мама была им довольна, поэтому и вел себя как идиот. Лепил из пластилина чудовищных медведей и зайцев, которых Елена Ивановна даже на верх шкафчика не выставляла, «чтобы не позориться». Но я же видела, как однажды Стасик слепил ангела. С крыльями. И нимбом. И это была такая работа, что я заплакала. И плакала, пока Стасик безжалостно скатывал крылья, которые выглядели как настоящие, в комок и лепил из него положенного и одобренного для дошкольников зайца. Он вырезал для мамы цветы из цветной

бумаги и клеил дурацкие аппликации. И очень переживал, что расстраивает ее своим странным поведением. Младшего брата он называл «ребенок». Без имени. Я как-то спросила, почему он так говорит.

– Ну, он ведь ребенок, – ответил Стасик, – а я взрослый. Пусть будет ребенком.

Я же говорила, что Стасик очень умный. Поумнее многих взрослых. Он хотел защитить своего брата. Хотел, чтобы он как можно дольше оставался ребенком.

Мама мне давно твердила: «Ты что – маленькая? Уже взрослая девочка!» Так что мы были маленькими взрослыми, хотя предпочли бы оставаться детьми.

У нас со Стасиком неожиданно обнаружилось и общее качество – равнодушие. Нам обоим было наплевать, что вся группа полегла с ветрянкой. Вот честно. Елена Ивановна приходила утром чуть ли не в трауре и объявляла, кто еще заболел. И все здоровые дети должны были переживать за заболевших. А нам со Стасиком было все равно. Мы для виду начинали рассматривать собственные ноги, но никак не сопереживали. А зачем? Ну, правда! Зачем? Почему мы должны беспокоиться о тех, с кем даже не дружили? И если от этого карантина нам стало только лучше? Нет, конечно, мы не радовались, но уж точно не собирались страдать. Наверное, мы и вправду были ненормальными детьми.

Как-то я спросила Стасика:

– А где твой папа? Настоящий?

– Точно не знаю, – ответил он.

– Ты не спрашивал у мамы?

– Нет, а зачем? Она придумает глупость и не скажет правду. А ты спрашивала?

– И я нет.

Да, у нас не было отцов. Но мы не собирались узнавать правду, прекрасно понимая, что кроме вранья от взрослых ничего не услышим. Тогда зачем интересоваться и переживать по этому поводу? Ладно, у Стасика хотя бы семья имелась – отчим, которого он должен был считать отцом, младший брат, которого он должен был считать родным, и новая бабушка, которую он вроде бы обязан был любить, как родную. Но почему мне было наплевать? Я спросила своего друга, что он об этом думает. Ну, в том смысле, почему я не хочу узнать правду о своем отце.

– А зачем? – пожал плечами Стасик.

Вот этот его вопрос я пронесла через всю жизнь. Когда я хотела что-то сделать или предпринять, узнать или разобраться, я задавала себя этот вопрос: «А зачем?» И в ста процентах случаев оказывалось, что незачем. Но потом, уже став взрослой, я поняла – это не равнодушие, а инстинкт самосохранения. Защитная реакция психики. Чтобы не сойти с ума и не слететь с катушек. Жить так, чтобы считаться хотя бы человеком «в пределах нормы». О, это еще одно мое любимое выражение из детства. «Развитие в пределах нормы». И как было важно попасть в эти пределы, которые не пойми кто придумал и ввел. Стасик тоже был «в пределах нормы». Как уж ему это удавалось, не знаю. Он-то явно был далеко за пределами этой дебильной нормы. Как и все нормы для детей, вместе взятые.

Ребенок не может быть в норме. Никогда. Ребенок живет и развивается вне всяких норм. И только тогда он вырастет хотя бы немного нормальным в отличие от своих придурочных родителей. Интересно, а нормальные родители в природе вообще существуют? Или это так положено – растить детей, но не любить их? Моя мама меня точно не любила. Она обо мне заботилась. Мама Стасика тоже его не любила, но ни за что бы в этом не призналась даже самой себе. И, конечно, тоже заботилась о сыне, потому что так полагалось. Даже Светку с Ленкой родители не любили. Они дочек растили и делали все что положено и даже больше. Все родители переживают только об одном – чтобы ребенок себя не покалечил, не заболел, не устроил истерику. Потому что тогда за него будет стыдно или неловко. Тогда он доставит дополнительные хлопоты и неприятности. Чему нас учили? Сидеть тихо, не бегать, не орать, не драться,

играть в подвижные игры осторожно. Не лезть, не залезать, не трогать, не двигаться. Образцово-показательный ребенок тот, который сидит молча и ровно на стуле и лепит из пластилина. Даже не вырезает аппликации, потому что это тоже может привести к проблемам – не дай бог в глаз ножницами ткнет. Знаете, у нас проводили в детском саду открытые уроки – приходили с проверкой разные взрослые, и мы что-то лепили, читали стихи, пели песни и маршировали строем. Мне до одури хотелось посадить на наше место хоть одного взрослого. Оставить его в группе на целый день под приглядом Елены Ивановны. И чтобы он на собственной шкуре узнал или вспомнил, каково это – быть ребенком в детском саду. Делать то, что не хочешь, но что положено по расписанию. Есть то, что ненавидишь, но согласно нормам санэпидстанции и допустимому количеству калорий для данной возрастной категории. Умирать от унижения, когда Елена Ивановна на тебя орет и обзывает. Сдерживать слезы, когда она тебя расчесывает после тихого часа. Ходить в туалет при всех, потому что детям противопоказаны двери с защелками. Да и элементарное уединение запрещено. Нельзя во время прогулки уходить за веранду, нельзя прятаться в деревьях и кустах. Нельзя даже просто сидеть и смотреть на облака – это признак ненормальности и повод для перевода в сад для дебилов. Созерцать, любоваться, думать, рассуждать – под строгим запретом. Или отправляйся в сад для дебилов. Там это все позволительно. Но назад дороги нет. Сад для дебилов прямиков ведет в «лесную школу». Клеймо остается на всю жизнь. Даже если ребенок хотя бы неделю походит на пятидневку, он уже никогда не сможет стать прежним. Я это знаю по собственному опыту. Никто никогда из детей, уходивших из нашего сада, не возвращался. Кроме меня.

Тот карантин окончательно сблизил нас со Стасиком, мы подружились и почти целый месяц жили счастливо. Опять же потом я поняла, что месяц – это много и мало одновременно.

– Странно, что ты не заболела, – сказала мне однажды Елена Ивановна, когда из нашей группы осталось всего семь человек.

Я тоже думала – почему не заболела? И представляла себе варианты – что бы было, если бы заболела, а что будет, если не заболею? Всякий раз получалось, что болеть мне ну никак нельзя. Потому что если заболею, то стану как все. А если не заболею, то буду читать стихотворение на утреннике. Вместо Светки и Ленки.

Стасик тоже никак не заболел, хотя его мама отвела его к заболевшему мальчику, чтобы он заразился. Мама Стасика считала, что лучше переболеть в детстве вместе со всем коллективом. Но у Стасика, несмотря на внешнюю щуплость, оказалось лошадиное здоровье. Если моя мама радовалась тому, что я не болею и со мной не нужно сидеть, то мама Стасика недоумевала – даже здесь он не такой, как все дети. Даже заболеть нормально не может.

Как-то вечером, за неделю до утренника, я долго не могла уснуть и представляла, что Светка или Ленка поправятся и им отдадут мое стихотворение. И я опять стану десятой по счету звездочкой в третьей линии или буду держать рисунок кирпича, изображая кремлевскую стену. Елена Ивановна успела вбить в мою голову, что я не должна радоваться или обольщаться – слова мне дали из-за карантина, а вовсе не за особые заслуги. Но радость воспитательница все равно не могла из меня выбить, как ни старалась. Да я чуму на группу готова была наслать, лишь бы продлилось это счастливое карантинное время.

Да, у меня не нашлось талантов, как ни искали. Хотя особо и не искали, откровенно говоря. Рисовала я средненько, пела чистенько, но ничего исключительного в моих рисунках, как и в голосе, не обнаруживалось. Танцевала так себе, но в такт попадала и движения быстро запоминала. Мама говорила, что у меня плохая память, но я вроде ничего особо не забывала. Я научилась сравнивать себя с другими детьми. Да, мне было далеко до Стасика, но я сильно опережала по интеллектуальному развитию Светку и Ленку.

Чем еще запомнился этот самый счастливый месяц в жизни? Елена Ивановна, как она сама говорила, «взялась» за Сашу Ильинского. Поскольку в сад ходило мало детей, воспитательница направила всю свою энергию на перевоспитание Саши. Он был левшой. Даже Ста-

сик им восхищался. Саша управлял левой рукой лучше, чем правой. Стасик даже пытался научиться делать так, как Саша, и пытался писать и рисовать левой рукой, но у него плохо получалось. Саша не только рисовал, но и резал ножницами, чистил зубы и держал ложку в левой руке. Елена Ивановна вызвала его маму. Они долго шептались в раздевалке, и после разговора воспитательница вышла довольная, будто съела в одиночку целый торт. Уже на следующее утро она достала здоровенный бинт и начала приматывать левую руку Саши к туловищу. Сашина мама стояла в раздевалке и молча наблюдала за процессом. Сын смотрел на маму, надеясь, что она вмешается и остановит странное бинтование. Но мама делала вид, что все нормально. Саша начал вырываться, вытягивать из-под повязки руку, но Елена Ивановна его одернула:

– Стой спокойно. Это для твоего же блага.

И продолжала туго мотать руку мальчика.

Саша еще раз повернул голову, чтобы увидеть маму в дверях раздевалки, однако она уже ушла. Весь день Саша ходил с привязанной к боку рукой. Он пытался ослабить бинты, но Елена Ивановна постаралась – примотала намертво.

Когда мы вырезали из цветной бумаги звезды, чтобы сделать открытку к седьмому ноября, Саша сидел и с ужасом смотрел на ножницы, не решаясь взять их в правую руку.

– Режь. – Елена Ивановна встала над ним и никуда не уходила.

Саша взял ножницы правой рукой и попытался резать. Конечно, у него ничего не получилось.

– Тебя надо переучивать. Никто не пишет левой рукой. Никто не держит ложку левой рукой, – объясняла Елена Ивановна, – все дети делают это правой. И ты тоже будешь. Надо стараться. Всех переучивают, так что не ты первый, не ты последний. Потом еще спасибо мне скажешь.

Саша старался. Но не мог. За обедом он облился супом и уронил на пол котлету. Елена Ивановна заставила его поднять котлету и все равно ее съесть. Саша не сопротивлялся. Он очень хотел все делать правой рукой, но именно левая его слушалась, а правая – нет.

Он не плакал, хотя остался голодным, не сопротивлялся, когда после тихого часа Елена Ивановна перемотала ему руку покрепче. Весь день он ходил с выражением крайнего удивления на лице и все время оглядывался в сторону раздевалки. Наверное, он надеялся, что там, в дверях, появится мама и скажет воспитательнице, чтобы больше его не мучила. Наверное, Саша никак не мог поверить в то, что мама дала добро на подобные истязания.

– Почему он не спорит? – спросила я Стасика. Я до жути жалела Сашу, который левой рукой вырезал такие цветы, какие мы правой не могли сделать. И он очень здорово рисовал левой рукой, хотя ему приходилось класть лист по-другому. Наискосок. Но все равно его рисунки оказывались самыми лучшими. Я не понимала, почему его наказывают, переучивают и почему он даже не плачет, не вырывается.

– Его мама на это согласилась, – ответил Стасик.

– Ну и что? Ему же плохо! Ему надо помочь! – Во мне проснулись чувства, которых я прежде не испытывала. Я хотела спасти Сашу от мучений. Уж он-то их точно не заслуживал.

Когда мы собирались на прогулку, Саша всегда одевался с левой руки и обувался с левой ноги – натягивал куртку на левую руку, а ботинок – на левую ногу. Елена Ивановна подскочила и стала рассказывать про плохую примету – обуваться с левой ноги. А нужно все делать с правой – именно правую ногу первой спускать с кровати, когда просыпаешься, и правой же ногой ступать за порог квартиры, когда выходишь на улицу. Иначе удачи не будет.

Во время полдника Саша опять облился киселем и уронил на пол запеканку. Елена Ивановна начала над ним смеяться – взрослый мальчик, а ест, как младенец. Разве не стыдно? Саша молчал. Он терпел целый день. И весь следующий. Он ходил вонючий, с застывшими пятнами супа на рубашке. Ему было плохо. Но Елена Ивановна радовалась – ее методы дей-

ствовали. Саша, с ее точки зрения, ровнее, чем накануне, вырезал круг из цветной бумаги правой рукой и меньше облился супом. Он ел очень медленно, аккуратно поднося ложку ко рту. Наклонялся ниже, уткнув нос чуть ли не в тарелку, чтобы поменьше пролить. Саша сидел за столом дольше, чем мы все, а воспитательница стояла за его спиной, следя за тем, чтобы он доел суп.

Все дети хотят угодить родителям. Все дети боятся маму или папу. Дети не хотят расстраивать родителей. Ребенок на многое готов ради родительской похвалы и одобрения. Саша был готов управляться правой рукой и ходить с привязанной к боку левой. Раз его мама так захотела. Но рано или поздно терпение заканчивается даже у самых послушных детей. При всей любви к родителям они хотят просто жить и борются за выживание, как умеют. И именно в детском саду учатся врать, а в школе уже закрепляют и оттачивают этот навык. Даже самые честные дети вынуждены прибегать к вранью. Чтобы жизнь стала хоть немного легче. И уже в детском саду они перестают любить родителей. Вы, взрослые, разве этого не знали? Или тоже забыли? Именно детский сад – время самых неожиданных открытий и самых горьких разочарований. И если вы думаете, что ребенок меняется из-за отобранной игрушки, то нет, это не так. Именно в этом возрасте – средней или старшей группе детского сада – дети понимают, что родители их предали. А если пока этого не сделали, то сделают завтра или в ближайшем будущем. Да, очень верное слово – предательство. Когда ребенок думает, что мама должна заступиться, спасти, уберечь, защитить, а она этого не делает. Разве это не самое страшное предательство? Разве такое можно забыть и простить? И самое главное: дети не понимают, почему так происходит. Почему самого страшного унижения, оскорбления или издевательства нужно ожидать не от воспитательницы, нянечки или других детей, а от родителей? Тех, кого дети любят безусловно и готовы простить многое. Вот Стасик простил маме, что она лишила его отца и заставляет называть чужого дядю «папой». Он даже простил то, что его мама завела себе нового, «нормального» ребенка. А я прощала маме, что она не ходит на мои выступления и забирает из садика позже всех. Но того, что случилось с Сашей, я бы даже Ленке Синицыной и Светке Ивановной не пожелала.

Однажды Елена Ивановна не сразу начала приматывать Сашину левую руку к туловищу. Он стоял, ждал экзекуции, которая не наступала. Саша робко улыбнулся. Наверное, за считанные секунды он решил, что его мучения закончились. И ему снова разрешено все делать левой рукой. Он наконец съел манную кашу, не облившись, поскольку держал ложку в левой руке. Но после завтрака на пороге группы появилась Сашина мама. Она держала в руках бинты. Упаковок было много. Сашина мама передала бинты Елене Ивановне, и та подозвала к себе Сашу – заматываться. Мне стало плохо. Саша подошел и привычно прижал левую руку к туловищу. Елена Ивановна заматывала бинт, а его мама помогала воспитательнице. Такого даже я не ожидала. Для Саши этот день стал самым страшным в жизни. Он мог считать, что во всем виновата Елена Ивановна, но оказалось, что его мама тоже виновата. Ведь она принесла бинты. И не один, а несколько. И помогала заматывать собственного сына. Воспитательница затягивала бинт намного туже, чем в прошлые дни, рассказывая Сашиной маме, каких успехов достиг Саша в поедании супа. Мама кивала. А потом ушла, оставив сына стоять посреди группы с перемотанным телом и свободной правой рукой, которая висела плетью. Саша сам будто сдулся. Последняя надежда на спасение, последняя отговорка, что во всем виновата Елена Ивановна, рухнули в тот самый момент. Саша понял, что его предала прежде всего мама. А воспитательница – только орудие.

Даже я обалдела от такого зрелища. Саша не плакал, но лучше бы он заревел. У него изменился взгляд. Я видела, что Стасик тоже наблюдал за этой сценой. Саша подошел к маме и ударил ее свободной рукой. Неумело, легко, совсем не больно. После этого он сел на стул и не двигался. Он больше не оглядывался и не искал взгляда матери, стоящей в дверях. Он вдруг стал другим. Вряд ли это заметили Елена Ивановна и Сашина мама. Они ушли в раздевалку,

где шептались о поступке Саши. Воспитательница предлагала наказать мальчика, ответа его мамы я не услышала. Мне очень хотелось помочь Саше, но я не знала как.

– Стасик, давай ему поможем, – подошла я к своему другу.

– Он не просил, но давай.

Стасик опять меня удивил. Я думала, ему все равно. Или он захочет, чтобы Саша попросил о помощи. Но Стасик подошел к столу, за которым обычно сидела Ленка, и достал ее ножницы, считавшиеся самыми лучшими в группе. Наши, обычные, даже картон с трудом резали. А у Ленки были привезенные из Польши, как и карандаши, фломастеры. Потом Стасик молча подошел к Саше и подрезал бинты. Но так аккуратно, что со стороны могло показаться, что Саша по-прежнему сидит с привязанной рукой. Хотя на самом деле он мог вынуть руку из перемотки.

Сашка все еще сидел, застыв. Кажется, он все еще думал о маме, которая не просто разрешила его мучать, но и лично подавала воспитательнице инструменты для мучений. Если бы Сашина мама не принесла бинты, Елена Ивановна не стала бы упорствовать в перевоспитании. Мальчик сидел, замерев, и, казалось, даже не видел, что делает Стасик с его бинтами. И только во время обеда, улучив момент, когда Елена Ивановна отвернулась, вынул левую руку из перевязи и быстро съел суп.

– Ну вот, молодец! Даже не облился сегодня! – обрадовалась воспитательница, увидев пустую тарелку.

Когда Сашка вырезал ровный круг, Елена Ивановна чуть не прыгала от восторга.

– Я же говорила, что можно переучить! А ты упрявился! – восхищалась она. Саша, который вырезал круг левой рукой, молчал.

Но уже вечером наш обман раскрылся. Елена Ивановна стала разматывать бинты и заметила, что они надрезаны. Ее педагогическая методика и достигнутые успехи полетели коту под хвост.

– Ты! Как ты? Кто тебе помог? – Елена Ивановна готова была ударить Сашу. Он это почувствовал и пригнулся.

– Признавайся, кто тебе помог! – кричала Елена Ивановна.

Саша молчал. Он бы ни за что нас не выдал, я это точно знала. Ему было уже все равно. Я давно заметила такой фокус. Когда самые главные страдания ребенка достигают слишком высокого градуса, неприятности меньшего масштаба кажутся ему ерундой. Сашу предала мама, он никак не мог это пережить. Так что допрос воспитательницы казался ему чепухой. Елена Ивановна зашла от приступа ярости и вечером, когда за Сашей пришла мама, что-то ей сказала. На следующий день он в группе не появился.

– А где Саша? – спросила я, поскольку не могла не думать о нем.

– Там, где ему самое место. В садике для дебилов. Куда и ты скоро попадешь, – рявкнула Елена Ивановна.

– За что? – не поняла я.

– За все. Не группа, а сборище ненормальных. Вот уж повезло так повезло. Какой был прошлый выпуск хороший! А вы – наказание на мою голову. Да вас с рождения надо было в специнтернат отдавать!

Наверное, Саша был совсем ни при чем. Но Елена Ивановна взбеленилась, орала на нас и отменила утренник. Буквально за два дня до выступления.

– Праздник для всех детей, а не для избранных, – строго сказала воспитательница, и не заболевшие дети, которые продолжали ходить в сад, немедленно почувствовали себя виноватыми в том, что не заболели, как все остальные.

Чем для меня стал тот день? Всем. Откровением, инициацией, прозрением, взрослением. Я поняла, что есть сила посерьезнее подарков и договоренностей. Случай. Банальный случай. Или судьба, провидение. Сначала один случай дал мне роль со словами, потом тот же случай

ее отобрал. Так что не все зависит от человека и его действий. Иногда удача может поманить, а в последний момент отвернуться. Мне, как ни странно, стало даже легче. Я успокоилась. Если бы я выступила со словами, то все бы вспоминали, что это из-за карантина и из-за того, что «больше никому». А мама все равно не собиралась приходить на утренник.

Елена Ивановна объявила, что «одним позором меньше», имея в виду выступление, и тоже была рада. Но я переживала за Стасика. Он ходил тихий и понурый.

– Ты чего? Из-за Саши переживаешь? – спросила его я.

Стасик помотал головой и наконец признался.

Мама водила его в гости к заболевшим ветрянкой детям. Она хотела, чтобы Стасик заразился и переболел детской болезнью, как и положено, в детстве. Вместе со всеми, с коллективом. В результате этих экспериментов заболел не Стасик, а его младший брат. И как так могло получиться – совершенно никто не понимал. Ведь младшего брата держали в отдельной комнате, кормили из отдельной тарелки и поили из специальной кружки. Стасика к брату вообще не подпускали и дважды в день в квартире мыли полы и чистили унитаз и ванную с хлоркой. И почему Стасик, который прошел через четверых заболевших ветрянкой одноклассников, так и не заболел, а его младший брат подхватил вирус, оставалось загадкой. Мама Стасика не находила себе места и не знала, кого винить – себя или старшего сына. Брат болел тяжело, не спал по ночам, чесался, плакал, когда его мазали зеленкой, и Стасик тоже стал чувствовать себя виноватым. Я не знала, как ему объяснить про то, что мы с ним – другие. И снова удивилась: как может Стасик настолько сильно любить свою маму. За что? Почему он такой добрый? И почему я не такая?

Группы объединили, поскольку у одной из воспитательниц заболела внучка и той пришлось уйти на больничный. Я ходила в другую группу, во второй, а не в третий подъезд. Группа мало отличалась от нашей – тот же набор игрушек, те же шкафчики. Но мне выделили шкафчик с зайчиком, и я очень обрадовалась. Зайчик ведь лучше грибочка. Поскольку нянечка той группы очень некстати и не вовремя ушла на пенсию, не заболевших детей отрядили на раздачу еды. Так я впервые попала на кухню и чуть не описалась от страха. Я должна была приносить тарелки в группу и помогать накрывать столы для обеда.

Я зашла в помещение, окутанное парами, запахами, звуками. Прямо передо мной стояла машина, которая засасывала в свои внутренности грязную посуду. Я засмотрелась на машину и забыла, зачем пришла. Стояла и завороченно наблюдала, как машина через резиновые ленты засасывает тарелки и выплевывает их с другой стороны.

– Это кто здесь? – Кто-то схватил меня за плечо. Я повернулась и увидела перед собой огромную, как великанша, женщину. Никогда раньше таких не видела. Даже одета она была не так, как положено женщине, – в мужскую майку, мужские же спортивные штаны с вытянутыми коленками, а на голове – здоровенный белый колпак. Но самым страшным казалось то, что под майкой у женщины ничего не было, и я видела, что ее грудь находилась не в том месте, где положено, а намного ниже. Под майкой явственно проступали соски. Где-то на уровне живота, даже ниже. Я знала, что все женщины носят бюстгальтеры. И грудь у всех женщин была в одном месте, а у этой страшили-великанши – в другом.

В тот момент я почувствовала, что если прямо сейчас не сбегу в туалет, то все. Но где на третьем этаже туалет, я не знала. Мне стало так плохо, что я пожелала себе заболеть ветрянкой, и побыстрее. И все-таки описалась. Впервые в жизни.

– Ну вот тебе здрасте! – ахнула женщина. – Мне ссыкуха в помощь досталась! Мне! Самой знаменитой поварихе на свете! О, смешно сказала! Меня зовут тетя Света, и я самая знаменитая на свете! – Повариха расхохоталась.

Я уже мечтала не заболеть, а лучше сразу умереть. От стыда и позора. И ужаса. Что делает Елена Ивановна, если узнает, что я описалась на кухне при поварихе? Да она меня при всех

опозорит! Так уже случилось с Ваней Козловым. Он описался во время тихого часа, и Елена Ивановна водила его за шкирку по всем группам и рассказывала, что он «надул в кровать» и ему должно быть стыдно перед ребятами, которые так не поступают. А он уже большой – шесть лет – и все еще ссытся, как маленький. В каждой группе бедный Ваня стоял перед всеми и клялся, что больше так не будет. Елена Ивановна в каждой группе объявляла, что если мальчик снова описается, она его проведет уже без трусов. Ваня трясся от ужаса, но стоял и извинялся, как было велено. Когда под конец этой экскурсии мальчик дошел до нашей группы, он описался. Прямо посередине. На ковер. Он даже не пытался добежать до туалета. Он вообще, кажется, не понял, что случилось и почему Елена Ивановна орет как полоумная. И почему все на него смотрят. Наконец он посмотрел на свои ноги и все понял. Ваня сделал то, чем грозила Елена Ивановна, – снял при всех трусы и стоял голый от пояса и ниже. Воспитательница что-то орала, мы все смотрели куда угодно, только не на Ваню.

– Группа идиотов! Все! Одень свои ссанные трусы немедленно! Я к заведующей! Завтра чтобы пришли родители! – вопила Елена Ивановна и брызгала слюной. Она подбежала к Ване и стала натягивать на него трусы, но с ним случилось то, что часто происходит с детьми, когда им уже все равно. Когда они настолько запуганы, что не реагируют на новые крики и команды. Он стоял и не двигался. Мне кажется, у него в тот момент что-то перемкнуло в голове, он и вправду не понимал, что делает. А только помнил последовательность – если описался еще раз, то пойдешь по группам без трусов. Елена Ивановна выскочила из группы и побежала к заведующей, а Ваня двинулся в противоположном направлении – он пошел без трусов по группам. Никто не пытался его остановить. Мы все стояли, замерев на месте, как в игре «море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте замри». Это было по-настоящему страшно. Раньше никто из детей так не делал. Не впадал в подобный ступор от страха. Мы все понимали, что с Ваней происходит что-то ненормальное, и в этом виноват не он, а Елена Ивановна, которая напугала его до подобного состояния. Будто Ваня был не мальчиком, а игрушкой с ключом в спине – заведешь, и игрушка ходит или танцует, пока не закончится завод.

Мы, дети, не знали, как помочь Ване, поскольку никто раньше на ковер не писался и не шел спокойно, будто ничего не произошло, в другие группы со спущенными шортами, колготками и трусами. Мы пошли за Ваней. Не знаю зачем. Наверное, не хотели оставлять его одного. Но, естественно, никто из нас не решался подойти и надеть на Ваню хотя бы трусы. Понятно, что девочки не могли этого сделать, а мальчики в стрессовых ситуациях часто оказываются потерянными и бесполезными. Воспитательницы других групп пытались успокоить Ваню – подходили к нему, помогали одеться. Ваня позволял натянуть на себя мокрые трусы, колготки и шорты, а потом снова все снимал и шел в другую группу.

Вы думаете, нервные срывы случаются только у взрослых? Настоящие нервные срывы происходят у детей. Хотя бы один взрослый пережил то, что пережил Ваня? Хоть кто-то из вас ходил без трусов в общественном месте, не понимая, что делает? Вы когда-нибудь писались из-за того, что на вас орут? Нет. Вы думаете, дети живут в параллельной реальности, в которой все вокруг – деды морозы, феи, добрые бабушки, принцы? И верят в сказки, в которых всегда хороший конец, а добро побеждает зло?

Ваня после этого пропал и больше в садике не появлялся. Наверное, его Елена Ивановна выгнала, как Сашку из-за того, что он левша. Я, стоя в мокрых колготках на кухне, вспомнила про Ваню и опять захотела в туалет. У меня начал сильно болеть живот. Если меня выгонят из сада, меня мама точно убьет – сидеть со мной некому. Мама просила вести себя «нормально», потому что «другого садика у меня для тебя нет. В этот-то еле попали, скажи спасибо, что по прописке».

Мне стало страшно до ужаса, но я боялась пошевелиться, хотя понимала, что нужно поскорее выбраться из этого ужасного места, где всем заправляет тетя Света. Может, она меня не запомнит, как не запоминали все остальные взрослые, и не выдаст Елене Ивановне?

– Люська, переодень ее! – спокойно отдавала команду повариха, прикуривая сигарету. Я уже дышать не могла от страха и стыда. У меня начали слезиться глаза, и я все-таки заплакала. Хотя плакать у нас в группе тоже категорически запрещалось. Елена Ивановна считала, что, если плачешь, значит, виновата. А в чем виновата – другой вопрос.

– Если совесть чиста, то слезы просто так не потекут, – твердила воспитательница и устраивала допрос тому, кто заплакал. И я точно не хотела попадать на допрос к Елене Ивановне. Она делала это мастерски. Сначала притворялась доброй, говорила, что ничего страшного, потом убеждала, что, если признаться, станет легче и «это для твоего же блага». А под конец начинала орать прямо в ухо. Казалось, она в любой момент может ударить. Еще у Елены Ивановны был фирменный прием – она брала стул и бросала его на пол. Или ломала линейку. Воспитательница совершала какое-то действие, которое намекало на то, что в следующий раз она бросит на пол провинившегося ребенка или сломает его, как линейку. Все признавались на стадии «это для твоего же блага», поскольку ранее видели летящие в стену стулья, сломанные карандаши, линейки, даже вазу для цветов, которую Елена Ивановна швырнула в стену. Мы уже впадали в транс от ее голоса, а на звуке бьющихся предметов будто просыпались и возвращались к действительности – воспитательница требовала признания.

Однажды за обедом разбилась тарелка. Никто не был виноват. Тарелка стояла на краю, стол сдвинули, когда дети садились, тарелка упала. А расплакалась Даша Сироткина. Наверное, от страха. И естественно, Елена Ивановна довела Дашу до того, что та призналась – да, это она разбила тарелку. Воспитательнице было все равно, что Даша сидела вообще за другим столом. Главное – она выбила признание. Даша потом еще неделю была наказана – ела за отдельным столом. Я же за столь короткое время успела совершить все возможные страшные и непростибельные проступки – описалась и расплакалась.

– Ты че, рыдаешь, что ли? Тоже мне беда нашлась! – Повариха, к моему ужасу, говорила приветливо, даже по-доброму. Я уже не знала, что и думать. – Со всяким может случиться, – продолжала тетя Света. – Вот я во втором классе описалась у доски. Представляешь? Стою такая дылда, выше всех в классе на две головы и мокрая! И ничего. Меня начали дразнить, так я всем таких раздавала пиндюлей, что мало не показалось. Забыли, как дразнить. – Она расхохоталась.

– Кого раздавала? – спросила я.

Повариха в ответ произнесла очень плохое слово, которое я, конечно же, уже слышала. Но женщины его не произносили. Да и не понимала, что оно значит. Но кивнула на всякий случай.

Девушка, которую повариха называла Люськой, прибежала, отвела меня в кладовую и выдала халат, фартук и даже косынку. А еще трусы, майку и колготки. От нового наряда пахло настолько приятно, что я начала нюхать фартук и никак не могла надышаться – прижимала его к лицу. Да еще и колготки не кололись, трусы не перетягивали ляжки и талию, а майка оказалась даже теплой, будто только из-под утюга. Мне стало так хорошо! Даже не могу объяснить почему. Просто хорошо и тепло. Ходить в чистом, удобном и теплом белье – разве это не настоящее удовольствие?

После ужина я собрала тарелки и понесла их на кухню. Обычно со столов убирала нянечка, но я хотела увидеть тетю Свету. Она сидела на кухне и курила в форточку.

– О, ты чего здесь нарисовалась? – удивилась она.

– Я не знаю... – промямлила я, – хотела вернуть. А мои колготки и трусы у вас...

– Ну точно. Люська, где ее вещи? Тебя, кстати, как зовут?

– Рита.

Люська принесла мои вещи – выстиранные, высушенные, аккуратно сложенные. Я начала стягивать с себя одежду, чтобы переодеться.

– Да перестань. Иди уже! Наверное, за тобой мама сейчас придет, – махнула рукой тетя Света.

– Я завтра принесу, верну, спасибо, – проямлила я.

– Да носи на здоровье! Колготки точно тебе лишними не будут. Свои ты небось до ушей дотягиваешь.

– А вам не надо? – ахнула я.

– Ну, как тебе сказать. Мне не очень по размеру, – расхохоталась тетя Света. – Не волнуйся, у нас тут «забывашек» целая подсобка.

И я опять расплакалась. Второй раз за день. До этого, кажется, сто лет не плакала, а тут целых два раза!

– Ну и что теперь рыдаешь? – Тетя Света улыбалась и не собиралась на меня кричать.

– Есть хочу, – призналась я, хотя мне казалось, что это не я говорю, а кто-то за меня.

Никогда раньше я никому не говорила, что хожу голодная.

– Ну ваще... – ахнула тетя Света. – Ты в группе не ужинала, что ли?

– Ужинала. Но не наелась. Мама вечером не готовит, а утром я уже в садике завтракаю.

Воспитательница добавку не разрешает.

– Садись. Люська, положи ей! – велела тетя Света.

Я ела и думала о том, что у меня сегодня самый счастливый день. Пусть не в жизни, но в этом году – точно. Я перестала наконец чувствовать бурчание в желудке, и мне разрешили оставить вещи. Мы же все ходили... как бы это объяснить... Одежда была таким же наказанием для нас, как и все остальные процедуры. Мыть голову? Мыло попадает в глаза и дико щиплет. Хорошо хоть раз в десять дней голову положено мыть, не чаще. Подстригать ногти – каждый раз надеешься, что мама полпальца не отрежет. Маникюрные ножницы считались только маминими, она боялась их затупить, а мне она стригла ногти обычными. Старыми и ржавыми. Расчесываться? Удивительно, как я вообще лысой не осталась. Так же и с одеждой. Колготки кололись и чесались. В лучшем случае – пузырились на коленках и спадали. Вещи покупались на вырост и на износ. Чем прочнее, тем лучше. Колготки, носки и все остальное – штопалось и зашивалось по многу раз. Рукава «отпускались», как и подола платьев и юбок. Шапки лезли на глаза, и лоб дико чесался, как и ноги под рейтузами. Пальто всегда было велико или мало – я лично не помню, чтобы хоть раз пришлось впору. Я могу долго рассказывать про одежду. Если я отказывалась что-то надевать, мама повторяла: «Ходи голой». Да лучше голой. Самые мучения начинались зимой. Во-первых, варежки. Эти здоровенные шерстяные чехлы мгновенно промокали и становились тяжеленными. Снять их не представлялось возможным – они крепились на резинке, протянутой через рукава шубы. На них тут же налипал снег, тяжелыми комьями. И самое веселое развлечение – ударить кого-нибудь варежкой по лицу. Это больно. Даже очень. Оттягиваешь варежку на резинке и пуляешь, как из игрушечного пистолета. А валенки? Почему всех детей обували в валенки? В них же невозможно ходить, не то что бегать. Не знаю, может, у взрослых были другие валенки – тетя Роза тоже ходила в больших, мужских и не жаловалась. Но я ненавидела эти валенки. Мокрые варежки, кстати, сохли очень долго. И уже к следующей прогулке надо было засунуть руку в мокрую противную шерсть, которая не грела. Нет, у нас не было перчаток. Ни у кого. У меня, кстати, и шарфа никогда не имелось. Только старый шерстяной платок, пропахший мазью Вишневского. Мама использовала мазь от всех болезней, а меня начинало тошнить от запаха. Знаете, какое самое мерзкое ощущение? Когда волос с платка попадает тебе в рот и ты не можешь его вытащить или выплюнуть. Он находится где-то за щекой и раздражает. Но никак не выплевывается. Зато мы никогда не думали о красоте. Ну разве что иногда. Мы хотели выжить – в этих чудовищных вален-

ках, шубах-«чебурашках» и варежках, которые можно было вместо носков на ноги натягивать, такого они были размера.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.